

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 6

1983



*Иван ДЕМЬЯНОВ*

# СОЛДАТСКАЯ ПОДУШКА

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 6

---

Иван ДЕМЬЯНОВ

СОЛДАТСКАЯ  
ПОДУШКА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1983

## Иван ДЕМЬЯНОВ

*Иван Иванович Демьянов родился в 1914 году в деревне Корогодино на Орловщине. Рано познал нелегкий труд хлебороба. В 17 лет был рабочим на чугунолитейном заводе в Ленинграде, позднее работал мастером морских такелажных работ на Охотском море.*

*В годы Великой Отечественной войны был военным шофером на дорогах Ладоги и Кавказа, на Западном, Калининском и Закавказском фронтах.*

*Впервые заявил о себе как поэт военного поколения в конце 40-х годов. Вышли сборники стихов «Рассвет», «Хранители времени», «Звезды над морем», «Березовая белизна» и др. В 1957 году И. Демьянов выпустил первую книжку стихов для детей, а всего их вышло свыше двух десятков («Ребятишкина книжка», «По шоссе трехтонка мчится», «Скороговорка», «Нам сороки рассказали» и др.).*

*Трудовые будни фронтового шофера — тема рассказов Демьянова-прозаика, вошедших в книгу «Солдатская подушка».*

*Иван Демьянов — член СП СССР с 1951 года.*

## СОЛДАТСКАЯ ПОДУШКА

*Светлой памяти матери —  
Марии Эрастовны Демьяновой*

— У вас грипп и высокое давление,— невесело сказал врач,— положите что-либо под подушку, она у вас очень маленькая! — И, вздохнув, добавил: — У меня еще столько вызовов! Ну, поправляйтесь!..

Когда щелкнул дверной замок, я стал поправлять подушку. Между пуговицами первой наволочки, там, где чуть расходятся ее края, увидел уголок второй наволочки. Она была немного порвана, и в это «окошечко» выглядывал наперник — третья наволочка, в которой пух.

Опершись на локоть, я засмотрелся на эти две внутренние наволочки и, забыв о болезни, надолго застыл в этой позе. Одно воспоминание сменялось другим. Некоторые из них относились более чем к тридцатилетней давности. Но почему это вспомнилось теперь, а не раньше — остается непонятным. Вероятнее всего, что все долгие годы было некогда остановить свое внимание на этой небольшой подушке, жизнь завертела в своем быстром колесе. А теперь я болен...

Самым свежим событиям — двадцать лет! И все они связаны с этими двумя наволочками!.. Третья — верхняя наволочка никакой для меня ценности не имеет, хотя и красивее всех! Я ее купил в магазине. А та, в которой пух, и вторая наволочка сшиты самой мамой в последний год ее жизни — ровно двадцать два года тому назад! Наволочка-наперник вся в цветах и напоминает луг, а луг — детство!

Лугов в нашей деревне Корогодино много, и они, пожалуй, лучшие на всей Орловщине. За игривой речкой за синь горизонта бегут, будто сопровождают голубой Даймен до самой Оки... Туда, туда — к родине Тургенева.

Вторая, рыжевато-оранжевая наволочка цвета осенних листьев, почему-то напомнила пушкинские сентябрьские парки, когда осень еще молодая — золотокудрая!.. А может, и потому, что второе воскресенье этого первого осеннего месяца в тысяча девятьсот сорок восьмом году было очень светлым и ласковым. И в пушкинские парки непрерывно текли разноцветные «реки» отдыхающих...

— Ваня! — сказала тогда мать. — Дай-ка твою подушку. Я распою наволочки и просушу пух — скатался он за годы войны на далеких дорогах... А наволочки сошью я новые — эти уже ветхие стали, отслужили свое. Тебе ведь дорога твоя подушка — фронтовая подружка!

Я не стал возражать и к ночи получил подушку вот в этих наволочках. Пух был просушен и расщипан. Такой мягкой подушка была только новой, а с тех пор прошло более трех десятилетий... Да какое там прошло — промелькнуло, как какой-нибудь куст мимо кабинного окошка мчащейся автомашины!..

Я объяснил, почему мне так дороги две нижние наволочки, и ни словом еще не обмолвился о самой подушке, почему она мне тоже очень и очень дорога. И почему ее мама назвала моей фронтовой подружкой. Хочется рассказать о ней поподробнее. В моей судьбе она не малозначительна!

В 1941 году в городе Волховстрое-2, на Земляной улице, стояли неказистые деревянные бараки — общежитие Волховского алюминиевого завода имени С. М. Кирова.

Тетя Паша, уборщица нашего общежития, она же по совместительству и завхоз, заменяла нам родную мать.

Только потом станет понятным: есть мать — значит, ты самый богатый человек на земле!.. Тогда еще этой святой истины не знали... Сменив постельное белье, тетя Паша принесла большую охапку новых подушек. Мы их в тот же вечер окрестили «скрипачами». Они были туго набиты «деревянным пухом» — сосновыми стружками. Такие ароматные подушки, что сразу напомнили лес... Но, как только станешь повертывать голову на такой подушке, она обязательно заскрипит, застонет, и, пока ее не утрамбуешь как следует, разговорчивой остается!.. А одна подушка — у тети Паши, вот эта, о которой пишу, была пуховая, «молчаливая».

Ясно помню, как ее тетя Паша перебросила с руки на руку и мне подает.

— А эта, — говорит, — бригадир!

Я смутился:

— Тетя Паша! Старички есть в бригаде, им и отдай! А я и на кулаке усну!

Но «старички» (самому старшему — тридцать один год) запротестовали:

— Кому первому подали, тот пусть и спит на ней — невесту во сне высматривает!

Тетя Паша улынулась.

— Правильно постановили! — И, лукаво посмотрев на всех, добавила: — Во сне одно дело, а наяву — другое! Надо, сыночки вы мои, и наяву в девичью сторону не забывать поглядывать! Девчата волховские — что зорьки майские!

А сама украдкой взглянула в расколотое зеркальце, висевшее у нас на стене, и вздохнула!

Рот у тети Паши был широкий, уши и губы толстые, сама маленькая, пышная, за что мы ее между собой, кроме «двоюродной мамы», называли еще и «лягушонком», вроде бы как дразнили, но дразнили без злобинки — любя дразнили. А характер у тети Паши был мягче этой подушки. Ко мне тетя Паша относилась особенно хорошо — и это за то, видимо, что в нашей бригаде никто не пил, как говорила она, «до сногшибательства». И правда, в бригаде был свой неписанный, но железный закон: ежели в праздник и хлебнул «огнедышащего» — по половице пройди! Наступил на соседнюю — стоп — полосатый столб!.. Словом, границу в этом деле знали неплохо, и ее не переходил никто.

Проспал я ночь на «барской» подушке (ее тоже так сразу прозвали), открываю глаза и снова плотно смыкаю веки — на меня в упор солнце смотрит, а июньский ветерок все шире и шире раздвигает занавеси, играет с ними.

День воскресный — не на работу, не торопились.

— Ну, бригадир, видел невесту во сне? — спросил кто-то, потягиваясь.

И я стал своей бригаде сон рассказывать, что на «барской» подушке видел. Все повернулись лицом ко мне — и подушки их хором запели.

— Загадал я, ребята, ложась на «барскую», так: если я в этом, тысяча девятьсот сорок первом году, невесту найду, то мне она приснится...

— Кто приснился?! — пропищал самый любопытный в бригаде Вася-рыжик.

Но ответить мне ему так и не пришлось. В общежитие не вошла, а вихрем влетела растрепанная тетя Паша, такой ее еще никто не видел, хватаясь обеими руками за голову, она закричала:

— Включайте радио, включайте!!! Нет, не включайте — там, там вой...вой...на!!!

\* \* \*

Когда стали уходить на войну, тетя Паша остановила меня у порога:

— Ты, бригадир, сон-то хороший видел? Может, она скоро кончится?

Я пошутил:

— Милая тетя Паша, не досмотрел сон я — война помешала, вот досмотрю в окопах и напишу!..

Тетя Паша задумалась и тихо сказала:

— Знаешь ли, Ваня, где ты сегодня спать-то будешь? Один ветер знает! А подушка маленькая, пуховая, сунь ее в свой вещмешок —

пустой он у тебя, хоть еще ноченьку голова твоя поспит по-человечески. Мама-то твоя в Питере, так я замест ее провожу тебя на войну в пламя-полями!

Из добрых глаз тети Паши выкатились две слезинки и обожгли мне руку. А тетя Паша быстро-быстро заталкивала в мой уже выдавший виды вещмешок «барскую» подушку.

Я не захотел обижать тетю Пашу — дал ей заполнить мой тощий вещмешок подушкой (пополнел сразу!). «Ну что же, потом выброшу «барскую», как отойду подальше,— подумал я.— Не подушкой же фашистов бить!..» Тетя Паша поцеловала меня в лоб, перекрестила, и я запыхлил по Земляной улице к месту назначения. А тетя Паша катилась катышком со мной рядом и почти шептала:

— Так светло и ясно. Солнышка-то всем хватит! Смотри, Ваня, Волхов-то какой синеокий! Зачем война-то, убийство зачем?!

А над нами все выше и выше поднимались белые голуби, они стремились к такому же, как и они, белому облачку, может, думали, что это не облако, а большая белокрылая стая голубей-сородичей купается в теплом июньском небе... А мне казалось, что понесли голуби слова тети Паши, чтобы услышал их весь мир: «Солнышка-то всем хватит! Зачем война-то, убийство зачем?!» Но, видимо, не дано было далеко улететь добрым словам душевного простого человека. Вскорости из-за белых облаков стала выныривать черная смерть — вражьи бомбардировщики...

\* \* \*

Этот день выдался таким суетливым, что о «барской» подушке вспомнил я только в три часа ночи, когда устраивался спать под кустом. Под голову я положил вещмешок, не развязывая его, — и так мягко!

К моему изголовью кто-то еще причалил:

— Что у тебя за поросенок? Дай-ка и я приткну голову...

Ранним, еще синеликим утром «барскую» подушку мне тоже выбрасывать не захотелось. «Подожду с этим,— решил я,— может, и сегодня лишнюю ночь сослужит «барская» службу добрую!» А кроме этого, в ней еще была частица тепла тети Пашиной душевности. Так осиротевшая без нас в пустых бараках, что-то она теперь делает — на миг вспомнил я о тете Паше.

И подушка пригодилась не только в последующую ночь, но и в другие ночи многих, многих военных и мирных лет!.. Она и до сих пор еще служит мне!

Впоследствии надо мной посмеивались однополчане:

— Кто на войну с пушкой, а Ваня — с подушкой!

И конечно, рано или поздно расстаться бы с ней пришлось. Но помог неожиданный случай. И действительно — «всесилен случай —



жизнь хрупка» — вспомнились мне стихи Некрасова. Что случай могуч, я убеждался в этом не раз.

Через древнюю русскую реку Волхов необходимо было соорудить паромную переправу на случай, если фашисты разбомбят мост. А я был мастером сращивания стальных тросов. Научил меня этому белобородый старик — бывший матрос русско-японской войны, гремевшей еще в тысяча девятьсот четвертом!..

Пока я возился с переправой, наша часть перебазировалась в неизвестном направлении. Началось сильное бомбометание — гудело небо, стонала земля, посылая раскаленные струи прицельного огня в небо, и мнилось порой, что не люди, а земля и небо ведут между собой невиданное доселе сражение! Я посмотрел на все четыре стороны, выбрал одну и зашагал в центр города. «Может, о своих что узнаю», — подумал я и в это самое время увидел стоящую на дороге автомашину. Подошел к ней — никого! Ездить я немного умел: несколько раз приходилось поколесить по двору гаража — мой друг шофер Костя Игнатов более длинные рейсы делать мне не разрешал... И вот в этот исторический для меня момент, когда я стоял в раздумье у «ЗИС-5», ко мне подошли, а вернее, как из-под земли выросли трое военных.

— Рулить можешь? — властно спросил один из них, видимо, старший по чину. — У нас шофера осколком убило. А рейс срочный.

Я ответил честно:

— По гаражу вокруг бензобочек кружил, и то только вперед ездить умею, а назад подавать машину еще не научился.

Другой военный, меньше чином, но выше всех ростом, гаркнул:

— Вперед умеешь ездить — и хорошо: вперед и надо! А назад зачем? Ты что — так-перетак... — добавил он, — отступить, драпать думаешь?! — И покосился на мой вещмешок. — Эва сухариками запася!..

Я, было, хотел сказать, что там не сухари, а подушка, но смолчал и, пожалуй, правильно поступил...

— Довези нас хотя бы до гаража! — попросил добрым голосом третий военный. — Нам сказали, что он здесь где-то недалеко.

И эта просьба подействовала на меня больше всего. Я решил съехать до гаража на третьей, а может, даже и на четвертой скорости — друг мне разрешал ездить только на первой и второй... а тут такая возможность!!! Доехать до гаража — это значит пересечь несколько улиц — дело для меня не из легких, но заманчивое!

— Поехали! — глухо выдохнул я, сунул свой вещмешок, наполненный только мякотью пуха, в кабину и, крепко сжав руками баранку, нажал на стартер.

Машина зашумела, громно чихнула, будто гриппозная, но все же завелась! А когда задрожала, стала живой, я так перепугался, что у самого ноги и руки тряслись, хотелось выпрыгнуть из кабины

и бежать, куда глаза глядят, только подальше от машины и от дороги. Но делать нечего: взялся за гуж, не говори, что не дюж!

Вещевой мешок со своей подушкой я привалил к левому боку, если, думаю, падать будем в канаву, что слева, все мягче удар будет, а ежели справа — справа тучный военный! С этими невеселыми мыслями я включил скорость. Глаза сами закрылись от волнения и страха. Машина тронулась, словно споткнувшись на первом шагу, — она не поехала, а запрыгала вперед, дергаясь и ковыляя из стороны в сторону по злосчастной дороге.

Теперь глаза мои лезли из орбит — веки раскрылись еще шире, когда я увидел, что незвано-непрощено толстый дорожный столб словно обрел резвые ножки, быстро бежал к машине — к центру радиатора... Я резко вывернул руль — со столбом разминулись. С рычанием шестеренок была включена третья скорость...

— Ты куда?! — испуганным голосом закричал один из самых первых моих пассажиров.

— В гараж! — зло бросил я и круто повернул руль влево.

Машина заторопилась теперь к противоположному столбу, словно он ее в гости позвал! Я предвидел, что «поцелуй» машины с таким столбиком — дело роковое! И стал крутить руль. Машина кривулями и зигзагами устремилась вперед. К счастью, дорога была свободна...

Военный, малость успокоившись, резюмировал уже мягким голосом:

— Ты, парень, того, хватил изрядно. Но ничего, ничего — крепись, с кем не бывает!..

И я крепился — все мое тело походило на туго стянутый морской узел. А на дороге каждый столб, как магнит, притягивал мою железную автомашину. По моим горящим щекам катился пот. Но из дырочки, пробитой осколком в стекле, прямо мне в лоб лился ручеек прохлады...

С этого сверхнапряженного короткого пути и началась нелегкая длинная-длинная (почти по всем фронтам) моя фронтальная дорога — до самой Победы!

Ездить и подавать назад я научился в пути и, наездив уже много сотен километров, получил права водителя — стал законным шофером. А кабина превратилась в мой быстролетящий дом, по которому не единожды была выпущена воющая смерть и с земли и с неба, от чего не раз пострадали и борта и кабина. А подушка, подушка несколько мне не мешала, наоборот, положив ее на колени, я превращал ее в стол — ставил на нее горячий котелок, а ночью (если удавалось поспать) я клал «барскую» под голову, не развязывая вещмешка, и спал, свернувшись перочинным ножичком... А если хорошая погода — ноги можно было вытянуть в боковое окно кабины, опустив для этой цели стекло. Была возможность, конечно, открыть и дверцу, но тогда ноги свешивались — затекали... Многие шоферы мне стали завидо-

вать: «Война, а он, как у тещи в гостях, на подушке нежится!» А кто задумчиво рассуждал: «Вообще-то не мешало бы предложить Главнокомандованию выдавать военным шоферам вот такие небольшие подушки с вещмешками: шоферы лучше отдохнут на подушке, свежее голова будет! Они не помешали бы и другим родам войск, но с ними там возни много, груз лишний, а тут бросил в кабину — помеха ли?! — сел на нее — поехали!..»

Бывало и такое — попадались старые, разбитые автомашины, из сиденья которых торчали концы проволоки... И тут меня выручала подушка!

\* \* \*

Одевшись в броню, гитлеровская Германия, зловеще выдыхая пламя из широких ноздрей орудий, все давя и разрушая на своем пути, девятым валом катилась на восток! Тысячи железных ладоней лопат сбрасывали пропитанную кровью землю в глубокие братские могилы, заиндевели, костлявые руки смерти жадно хватили детей и взрослых! От обильной своей добычи смерть, казалось, еще больше становилась голодной, все чаще и чаще поднималась она по обледенелым ступеням опустошаемых ею ленинградских домов за новыми жертвами. Но люди боролись с ней днем и ночью, как умели, как могли — до последнего глотка воздуха!

\* \* \*

В одну из гудящих буранных ночей седой ладожской трассы, скупо освещенной подслеповатой бледной луной, впереди идущая автомашина вдруг на глазах растаяла — на ее месте среди белесых льдов появился черный круг воды... Пришлось надавить на все тормоза — ручные и ножные; продвинувшись метров пять юзом, машина остановилась.

К моей кабине подвели человека — трудно было определить, к какому полу он принадлежит, — только острый нос торчал из одеяла.

— Возьмите в кабину! Пропадет человек!.. Валенок его в полыньне остался, — быстро говорили мне.

И тут выручила подушка: все мокрое с ноги пассажира-подкидыша — прочь! Ногу — на подушку! Концами подушки обвернули — спеленали ногу, стянули брючным ремнем — получился пуховый бот. Доехали до берега, а потом и до теплостенной уютной избы — и пальцы блокаднику не поморозили!

Но больше всего выручала меня подушка, когда надо было делать перетяжку подшипников мотора. Зимой и осенью приходилось лежать

под брюхом машины на спине на холодных плитах или просто на снегу. Я никогда, как другие, не заболел ни гриппом, ни пневмонией, не посещал меня и радикулит (не болела поясница — «задний мост», по-шоферски) — под моей спиной была «барская» — и тепло и мягко. Одалживал я свою подушку и товарищам-однополчанам, когда кто-либо из них на ремонт становился, под машину лез — спиной шар земной согреть ложился! А такое бывало нередким явлением.

Пламя войны разгоралось. Гитлеровцы все яростнее ломались в глубины нашей Родины. Они уже под самой Волгой — им надо перерезать главную артерию страны, лишить нас нефти, бензина — заглушить наши моторы! Но и сопротивление врагу нарастало. Фронт и тыл, как два кровных брата, стояли в едином боевом строю!

Горячо было и на Калининском фронте — на Ржевском направлении. Здесь часто приходилось возить тяжелораненых. Однажды трое суток без перерыва гремел военный гром. Бас охрипших пушек закладывал уши. После этой грозной земной грозы в мой кузов положили раненых — везти из-под Ржева их надо было в полуразрушенный Торжок. А дорога — «мама» не выговоришь!..

Здесь тети Пашин подарок оказал мне еще большую услугу. Помню, в кабину ко мне посадили летчика. Нижней губы и части подбородка у него не было — осколком срезало! Он написал мне записку, чтобы я курил и дышал на него махорочным дымом. Он с жадностью глотал его — марлевая повязка краснела, летчик, морщась, поправлял ее и снова втягивал в себя продымленный воздух... Так в дороге мы и курили — одной затяжкой наслаждались двое!

Вдруг на полном ходу автомашины летчик открыл дверцу кабины — хотел выброситься... С большим трудом, как говорится, чудом мне удалось ухватить летчика за ворот гимнастерки.

— Не прыгай без парашюта! — зло сказал я.

Тогда мой непоседливый пассажир начал неистово биться затылком о кабину. Я понимал его душевный шторм. «Причины, конечно, к этому есть», — подумал я. И, проклиная войну, привязал потерявшего душевное равновесие человека к решетке заднего стекла кабины и ручке дверцы, положив предварительно под голову летчика свою подушку. Вскоре тяжелораненый как-то обмяк, забылся и даже уснул. Ехать я старался побыстрее, но как можно осторожнее, каждую выбоину, по возможности, объезжал.

Другим рейсом и в другое время я снова вез раненых по этой же дороге. Сена взять было негде, и одному бойцу на пахучие сосновые ветки, наломанные мной в пути, я положил под голову «барскую». Его голова сразу почувствовала ласку пуха, — не открывая глаз, он тягуче произнес: «Спа-си-бо... ма-ма!..» Вот тут я только в полную меру оценил подарок тети Паши. И от себя сказал ей тоже спасибо. А этого молоденького солдатика с пуха моей подушки сразу же принял холодный пух приволжской земли...

Однажды мне пришлось ехать по дороге в той же Калининской области, где вместо деревень торчали тощие одноногие столбики с прибитыми к ним фанерками, на которых порой даже углем от сгоревших изб были выведены названия бывших пожарных огнем селений. У таких «населенных пунктов» на дороге валялось множество всевозможных железок и рыжих пережженных гвоздей. Проколов колесо перегруженной автомашины, я решил вулканизировать (лечить) камеру здесь же, в этой «деревне». Вся деревню представляла лишь одна-одинешенька стоящая среди чиста поля русская широкоплечая печь! На ее когда-то горячей кирпичной спине теперь, чуть свесившись, полеживал врастажку, как сивобородый дед, горбатый сугроб. Возле этой печи я нашел утюг и даже хороший чугунок. А вез я в свою часть картошку. Заодно решил и поужинать. Здесь на выжженной земле на многие километры не было ни одной живой души. Накидав в печку головешек, которые легко было обнаружить под снегом по бугоркам и всевозможным выпуклостям, я бросил на них смоченную в бензине тряпку. Пламя и дым рванулись на меня. Догадался — открыл вьюшку. Налил в чугунок горячей воды из радиатора, вымыл картошку и стал ее варить. Печка обрадовалась огню, пламя красным языком облизывало головешки и широкобокий чугунок с кашинской картошкой. Утюг накалился быстро, вулканизация шла успешно. За работой я не заметил, как на землю навалилась студеной ночью, и медленно среди белой пустыни в небо стало выкатываться золотое колесо луны. Я закурил, осмотрелся и вдруг понял, что среди этого мертвого мира я одинок. Стало как-то не по себе. Потрескивание дров только подчеркивало тишину и углубляло ее, как и одиночество! На снегу вздрагивал ответ, будто хотел пошире раздвинуть холодный сумрак. Я запел — стало еще тоскливее. В таких случаях машина в какой-то мере заменяла мне товарища. Живая не живая, а ходит все же, бегать может, и голос есть — с пнем не сравнишь!.. Какие-то секунды я не мог правильно воспринимать действительность — все казалось сном: эта печка, с хрустом доедавшая очередную порцию подброшенных дров, и в то же время под лучами луны искрящийся на ее спине сугроб, который и не думал слезать оттуда...

«Вот оккупант! — подумал я, — всю ночь надо куховарить, чтоб он убрался с печки!» И среди этой нереальности так сильно и вкусно запахло сварившейся картошкой и так захотелось есть, что все мои мысли переключились на ужин... Впоследствии об этой печке я написал одно из моих первых стихотворений:

Одинокою она стояла, грустной.  
Ни двора вокруг и ни кола...  
Только печка нам, солдатам русским,  
На пути пристанищем была!

Растопили, грели воду в кружках,  
А когда закончился привал —  
Взяли мы и вновь закрыли вьюшку,  
Чтоб солдатский дом не остывал.

Снег на вьюшке становился паром,  
В печке синий огонек мелькнул...  
Кто-то крикнул:  
— Не было б угару!..—  
Пошутил — и брови зло сомкнул!..

Слив воду из чугунка, я пошел есть в кабину картошку (там не было ветра, не было хлеба, но была соль). Когда я шагал по залуенному снегу, со мной следовала к автомашине и моя огромная голубоватая тень с гигантским обхваченным ее руками чугуном. Я даже остановился, глядя на это сказочное зрелище. Тень остановилась тоже... Я вслух пошутил, обращаясь к собственной тени:  
— Ну что, ты тоже проголодалась? Вместе, чай, работали — пойдем ужинать...

И казалось, что снег захрустел не под моими, а под ее ногами... Но вдруг по всему моему телу пробежали мурашки — в кабине кто-то сидел! Есть такие слова в популярной песне: «Нам смерть не страшна...» Но я на войне убедился — смерть не страшна только мертвым! Распахнув дверцу кабины, я увидел на сиденье курящего человека. Ароматный дым папиросы сразу забил запах картошки. Я уже давно вывернул все свои карманы — ни махорки! Додымил за работой. А какое это несчастье, может понять только курящий!

А тут — папиросы!!

— Прости, браток, что без спроса устроился, — сказал незнакомец, — не хотел тебя от труда отрывать. Ты ведь в сторону Ржева? — И, не ожидая ответа, попросил: — Подкинь! Я от части отстал, да какая там часть — частичка от части осталась, словом, из окружения!

«А сосешь папиросы, и шинель добрая», — подумал я, и на душе стало мутно. Но ему как можно спокойнее ответил:

— Отчего не подкинуть — подкину!

Мы ели с лейтенантом картошку, разговаривали, шутили, а я все думал: «Откуда он тут взялся?!» Вопросы непрошеного гостя меня настораживали еще больше. Он интересовался — один ли я картошку вожу в часть или есть помощники? Начинал разговор о девушках:

— Чай, зазноба там осталась, в деревне, где картошку берешь? В какой? Может, и я там бывал? Поблизости-то их не осталось, деревушек и девушек-то? Далече странствовать приходится! — и шумно вздохнул.

Я вспомнил стражайший приказ: «Никого в дороге не брать и не останавливаться в пути». И особенно на этом «голом» участке, если

кто и голосует... Молодые женщины иногда высоко поднимали юбки, обнажив ноги, будто переходили глубокий брод... Враг был коварен! Приказ никого не брать был издан неспроста — участились случаи, когда в форме советских военнослужащих и просто «попутчики» убивали водителей и, забрав путевку и права, а то и машину, скрывались. Фашисты на этом участке были совсем близко — зевать не давали!..

Но иногда «попутчики» садились сами. Они стояли на крутых подъемах, где машина шла на первой или второй скоростях — тихо. Тогда попутчики вскакивали на подножку автомашины и безо всякого разрешения водителя открывали правую дверцу кабины и садились. Во избежание подобных случаев замки правой дверцы у многих наших шоферов были вынуты. Ручки — тоже. А дверцу привязывали шпагатом или тонкой проволокой, чтобы от особо подозрительного, непрошеного пассажира можно было избавиться, даже если ему удастся сесть.

Принял к сведению я и то, что перед горячей картошкой лейтенант предложил мне «погреться» из фляжки. Я отказался, поборов соблазн. Гость угостился сам. Завинчивая крышку фляжки, лейтенант уронил ее и по-немецки ругнулся и тут же по-русски поправился!..

\* \* \*

Ехали мы по освещенной лунной зимней дороге молча. И кто бы мог подумать, что в одной кабине по одной дороге этой пустынной ночью едут два лютых врага и едут так близехонько друг от друга, что и на малом ухабе задевают один другого то плечом, то локтем. И вместе с тем каждый обдумывает, как бы в кабине остаться одному!.. Но вот мой «попутчик» захотел «спать», он чуть повернулся лицом ко мне, и голова его мягко привалилась к моему плечу, а правая рука по-змеиному бесшумно поползла в карман, оттуда — за пазуху. В кабинное зеркальце я увидел, как луна лизнула в его беспокойной руке что-то блестящее.

«Нож!» — догадался я, и страх овладел мною, и я надавил на акселератор до конца, дав полный газ, и жадно глотнул воздух. К счастью, дорога нырнула под крутой уклон, и на душе на несколько секунд отлегло. «На таком ходу ничего не сделает — сам побойтся смерти. А вот в гору... За мостиком!.. Надо только не прозевать!» Я бы мог попытаться избавиться от непрошеного гостя и сейчас, но меня грызло сомнение: а вдруг он все-таки свой?! А может, это кольцо блеснуло, а я его раньше не заметил? «У страха глаза велики!» — мелькнула в мозгу думка. Все это происходило в секунды. Во мне как бы спорили два человека — один настаивал и торопил: «Спасайся!», другой связывал сомнениями...

Нет ничего мучительнее, когда борешься сам с собой. Но вот я принял твердое решение — во что бы то ни стало избавиться от соседа. И стало легче. Уже близко крутой обрыв. Скорее! Скорее!..

«ЗИС-5» под уклон разбежался километров на сто в час, соскользнул вниз и лишь резко подпрыгнул на узком бревенчатом мостике, в такт прыжку машины подскочил и я. Правая рука быстро схватила «барскую» и прижала к груди над баранкой. Права машиной левой, я одновременно напряженным до предела всем телом метнулся в попутчика. — Удар!!!

Правая дверца автомашины то открывалась, то закрывалась — казалось, что машина тяжело взлетает в гору, захватывая воздух одним железным крылом. В кабине закружился пух... Удар ножа приняла на себя подушка! И именно в то мгновение, когда я твердо уперся левой ногой в пол кабины, я резко метнулся в сторону врага и вытолкнул его из кабины. Едва проскочив мостик передними колесами, я понял, как много иногда значит в жизни секунда, которую мы вообще не считаем за время!..

Страх по-настоящему мной овладел только тогда, когда я от опасности находился километра за два, за три. Я не мог расслышать, что крикнул недруг, вываливаясь из кабины, за исключением: «Догадался, моли бо...!» Эти два с половиной слова я слышал отчетливо. Они подтвердили, что со мной ехал лютый враг.

Через два дня на этой дороге и на этом подъеме убили ножом (тихой смертью) двух наших водителей и угнали автомашины. С этого случая моя любовь к подушке возросла еще больше.

\* \* \*

В годы войны нас, шоферов, часто перебрасывали из одной части в другую. Перебазировали и с участка на участок. И с одного фронта на другой.

В 1943 году в заснеженных лесах под Торжком организовывалась 1-я автомобильная бригада Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК). Лучших из лучших водителей, и обязательно с десятилетним стажем, стали отбирать в разных автобатальонах и посылать в эту новорождающуюся часть. Работа этой боевой единице предстояла серьезная: нужно было импортные американские автомашины, получаемые по ленд-лизу, перегонять из Ирана по коварной, заоблачной Военно-Грузинской дороге на фронт! Особенно опасна эта дорога была весной: с грохотом сползали с вершин гор многолетние снега и камни и, все сметая на своем пути, летели в Дарьяльское ущелье, огромные каменные глыбы догоняли друг друга в воздухе — и тогда многометровые сгустки огня с треском и гулом низвергались в пропасть, словно разгневанная гора плевалась пламенем на бешеные седогорбые волны Терека. А в самом Тереке мрачной туманной ночью,



гонимые могучей вешней водой, толстобокие валуны и обломки скал терлись друг о друга, крутятся и переворачиваясь, и тоже высекали красные кривые молнии, а издали казалось, что огненные змеи, клубясь и переплетаясь, ползли по бездонной пропасти, наполняя ее своим шипением.

Днем было видно, что от перетертых камней и глинистых пород Терек становился скакуном гнедой масти и перепрыгивал высокие преграды обвалов или разносил их могучей грудью, разбиваясь на тучи брызг. Естественно, что на эту дорогу отсеивали шоферов не через решето, а через сито! На вопрос при отборе: «Какой у тебя водительский стаж?» — я тогда отшутился: «Опытный стаж!» Отбирающий шоферов ушел. А я снова, лежа на «барской» под машиной, подтягивал гайки. А моложе моего стажа, пожалуй, на всех фронтах не было. Мой ответ: «Опытный стаж», — видимо, понят был как стаж десятилетний. И поверили мне, даже в права не заглянув, и зачислили в 28-й автополк 1-й автомобильной бригады Ставки Верховного Главнокомандования (об этом я тогда еще не знал). А когда перед строем назвали мою фамилию и скомандовали: «Три шага вперед!» — мне было уже известно, куда и зачем мы едем, растерялся: такая дорожка не для меня, — сказал, что у меня стаж «не опытный», и хотел все объяснить, но представитель новой части подмигнул мне: «А ты шутник. Ну что ж, нам свои Теркины нужны: дорога длинная будет!» Я хотел что-то сказать еще, но другой командир властно скомандовал: «Отставить разговорчики!» Так со своей подушкой и «опытным стажем» я поехал из-под Ржева в Иран за американскими автомобилями!

\* \* \*

Было очень заманчиво поехать в Иран и одновременно боязно: что-то будет с моим шоферством? Как говорится, и хочется и колется... Командир отделения в новой части был у нас маленький и сердитый, его реденькие и щетинистые короткие брови даже не разлетались — все у самого носа торчали! А я, как на грех, оказался очень похожим на одного однокашника — большого шкоду! Он и спал рядом со мной на нарах. Заметив за ним какой-то проступок, командир отделения хотел ему вспать — дать наряд вне очереди (замечу, что на это командир отделения был щедр безгранично!..), но «ослушник» сбежал.

Антонов не был уверен, кто провинился — я или мой двойник. И на проверке расщедрился в мою сторону:

— Демьянов, пойдете в распоряжение повара!

А я только вчера чистил картошку по очереди! И сегодня так спать хотелось, что глаза сами косились в сторону «барской». Я стал возражать командиру отделения:

— За что такая милость? Я чистил кар...

— Довольно каркать! — на полуслове оборвал меня Антонов. — Значит, плохо чистили. Опять кожурой обросла... Идите!

Тогда, смотря на своего командира отделения сверху вниз (он был небольшого роста), я сказал:

— Спасибо за новую поговорку!

— Это за какую?

— А знаете, есть такая пословица: «Мал золотник, да дорог!»

— Ну-с,— промычал Антонов,— а теперь?

— А теперь еще другая будет: «Мал золотник, да вреден!» —

И я зашагал на внеочередную работенку, как ее называли в отделении. Хотел туда прихватить и свою подушку: картошки сегодня не будет — я знал еще вчера, что повар собирается варить на завтрак лобио — густую похлебку из фасоли, так что будет время и покимарить!.. Но «барскую» взять не удалось.

— Э-э! — закричал Антонов. — Подушечку берете на работу? Вы потому и грубите, что мягко спите. Не положено с пуховиками на войну ездить! — И выбросил мою подушку в окно.

А за окном казармы оказался игривый пес Барон, принадлежавший командиру нашего полка. Барон схватил мою подушку и бросился наутек. Несколько солдат-шоферов пустились за ним вдогонку, развив самую предельную скорость, на которую только способны человеческие ноги. Но расстояние между Бароном и солдатами заметно увеличивалось: у него-то четыре ноги!.. Барон мотал головой из стороны в сторону, подушка мягко болталась у него в клыках, что маятник, из нее стал вылетать пух... Пес со своей легкой добычей вскочил в здание штаба. По-видимому, командир полка находился там. Шоферы остановились у штаба и повернули обратно, а я, разгоряченный погоней, не вошел, а влетел вслед за Бароном! (Дверь открыта — закавказский вечер был душным.) Когда я, запыхавшись, перемахнул порог штаба, все устремили взоры на меня. По-видимому, только что закончилось какое-то совещание. Барон тыкался носом в колени командиру полка и повизгивал. Наверное, ждал награды за «добычу», а подушка лежала с рваным боком у пса под брюхом. По штабу кружились легкие неторопливые пушинки, напоминающие в этом жарком краю наш русский снег.

Вытянувшись в струнку, я отдал честь. И тут же с языка неожиданно для самого меня сорвалось:

— Это моя подушка — тети Пашина! Домашняя! Разрешите ее взять!

Загремел дружный хохот.

— А перину ты не захватил с собой? — язвительно спросил начальник штаба майор Лопатин, и, не останавливаясь, продолжал язвить: — Так она твоя или тети Пашина? Подушка-то?

Ответить мне не дал командир полка.

— Не знал я, — сказал он, — что у меня такие предусмотрительные солдаты. Не с пустыми руками на войну отправились, такие домашние сувениры с собой захватили... Я вот не додумался до этого, — и Илья Васильевич Троицкий не спеша выпустил сладкую струйку папирсного дыма. Мне почему-то вспомнился «лейтенант-попутчик». Задыхаясь от волнения, я сбивчиво, но правдиво рассказал всю историю с подушкой и как она много раз меня выручала на фронтовых дорогах, и не только меня.

— И раненым, значит, ее под голову подкладывал? Историческая подушка, прямо скажем. И подшипники, лежа на ней, подтягивал — неплохо придумано! А с лейтенантом-то — вот это да! — И командир полка вынул из-под Барона «барскую», отряхнул ее рукой и подал мне. — Ну что же, возьми ее, но до пушинки здесь все выловите с моим писарем. Да пусть старшина новую наволочку даст, — заключил командир полка, — раз эта в клыках у Барона побывала.

И, сбрасывая друг с друга пушинки, командиры в веселом настроении вышли в широколапчатый каштановый сад Могупа, расположенный неподалеку от Еревана...

Радости моей не было предела. Набрав воды в рот, мы бегали с писарем и прыскали на пушинки, словно рой пчел ловили. Мокрые пушинки не улетали от нас под высокий потолок, а послушно приземлялись сами. Когда я прибежал в батальон, маленького командира отделения нашей пятой роты уже не было — он уехал в рейс и, к моему удовольствию, остался на промежуточной ремонтной базе в Пассанаури. Шоферы, как по договоренности, доставали из карманов пушинки и протягивали мне.

Один водитель сказал:

— Я больше всех собрал — семьдесят две пушинки! Когда будешь в наряде, спать на твоей «барской» будем мы, кто ловил пух, по очереди. Ну, если учесть, конечно, — добавил шофер, — и количество собранного пуха: кто больше, тому и...

— А я уже спал!! — громко хвастался Сашка Иванов, мой сосед по нарам. — Как только ее положишь под голову — обязательно дом приснится и все мирное, довоенное. Эта подушка не любит войны, — убежденно закончил он.

И от внушения, что ли, почти все, кто спал на моей подушке, видели «домашние» сны. Спать на ней стала почти вся рота, ее выпрашивали шоферы и из других рот нашего батальона, особенно после хлебовского вещего сна.

Димка Хлебов, уснув на «барской» подушке, увидел свою невесту Таню — с другим!.. А потом ему младший брат сообщил в треугольном конверте: «Твоя холера замуж вышла, так ты не трать чернила на письма к ней!»

Слава о моей подушке росла ночь от ночи. Мне самому спать на ней приходилось все реже. А в рейс не ездили долго: в Персидский залив

в это время не прибывали американские «студебеккеры». К тому же был закрыт многометровым снежно-ледовым шлагбаумом-обвалом горный Крестовый перевал. Военно-Грузинская дорога отдыхала перед нескончаемыми нашими колоннами, которые ей вскоре предстояло увидеть.

И вот наступил срок — автомашины в Иран прибыли. Там и произошел третий несчастный случай с моей подушкой. Переправившись через пограничную реку Аракс в иранскую Джульфу, мы сделали привал. Машины нам подгоняли и сдавали негры, и мы занялись, пользуясь недолгой передышкой, изучением английского языка, чтобы при приемке автомашин меньше затрачивалось времени. Необходимо было знать те слова, которые крайне нужны в этих случаях: названия гаечных ключей, запасных деталей и комплектов, которые выдавались к машинам той или иной марки, а также противобуксовочных цепей. На них хочется заострить внимание: без них не взять крутизны гор, особенно завьюженных и обледенелых, а надевать их в стужу на колеса — дотронешься до цепей, кожа так и прилипнет к железу. Забудут ли их шоферские руки!.. Но цепи были нашими союзниками в штурме гор. Однако и их немало перемолол, пережевал Терек на своем порожистом дне... Врезая в скалы свои автографы, часто забирались мы повыше тоже при помощи цепей.

Автомашины мы получали разных марок: «студебеккеры», «шевроле», «интернационали», «виллисы», «додж-три четверти», были и «королевские» английские автомашины (руль с правой стороны), это для нас создавало большое неудобство — непривычное дело управлять машиной, сидя на правой стороне кабины...

Когда закончился своеобразный «урок» английского языка — преподавал его помпотех полка (он его немного знал и делился своими скудными знаниями с нами), — я встал с подушки, на которой сидел на «уроке», а ветер словно этого и дожидался — схватил мою подушку и завертел ее вместе с красной иранской пылью и покатил в погранречку Аракс — в быстроскачущий, седой от пены поток. Подушку спасли тогда сменившиеся иранские пограничники. Еще секунда — и ее поглотили бы вздыбленные, верткие волны. Сушилась подушка недолго — иранское солнце знойное. В том рейсе мне досталась огромная автомашина «интернациональ» — «интер», так прозвали ее водители. Командир роты, зная мой «опытный стаж» и Военно-Грузинскую дорогу, хотел как-то освободить меня от вожделения этой машины-махины через гребень Кавказских гор, но приказ поступил строгий: «Всем до единого человека в полку — за руль». Даже некоторые повара были приобщены к этому. В нашем 28-м автополку не было ни одного человека, кто бы не имел водительских прав. На «интере» сиденье, по сравнению с «ЗИС-5», было низким. Подушка сразу исправила положение, а это много значило. Может быть, тот, кто не хотел считаться с этим, в первом же необкатанном рейсе на такой «дорожке», как Военно-Грузинская,

и уехал в бездонье Дарьяльской теснины или в заоблачное Севанозеро, разлившееся меж гранитных скал на высоте тысяча девяносто шестнадцать метров над уровнем моря. Как сейчас помню командира полка, машущего красным флажком — торопитесь, мол, торопитесь! Уже вытянулись в колонну, рокоча, головные автомашины, а ротный, глядя в сторону, говорит мне:

— Видимо, придется пожертвовать этой автомашиной — держись, Демьянов, за землю, ежели падать будешь, — и уже серьезно, положив мне на плечо руку, добавил: — Смотри в оба, отца и мать забудь — одну дорогу помни!

Пожертвовать пришлось, и не одной автомашиной... Но, как ни странно, я все время оставался на дороге, а не за ее пределами. При въезде на пограничный мост моей первостепенной задачей было благополучно переехать мост и скрыться за поворотом советской Джульфы, а случись что, думал я, в виду иранской Джульфы, иранские пограничники и негры скорбно покачают головой: ну, скажут, и водители у них!.. Стало быть, не только себя посрамлю! Словом, скорее за мост и поворот, а там видно будет! Под «там» подразумевалась вся дорога, на которой в одной республике позавтракать и пообедать не приходилось. Завтракали в Азербайджане, обедали в Армении под Ереваном, ужинали в Грузии или в Осетии... Но были рейсы и по более дальним маршрутам: Киев — Брест — Польша — Германия. И еще впоследствии тоже в своих автомашинах, но на платформах — к Тихому океану, на новую войну с Японией...

За один такой рейс, например, из Ирана до Бреста гимнастерка на спине протиралась в тряпки, хотя спереди обмундирование было вполне еще приличным. Нас все время заставляли быть начеку перед преодолением Крестового перевала, но и до него одиннадцать автомашин с полным грузом — консервами и другими продуктами — вместе с водителями ушли навсегда с грозной дороги. Когда головной 28-й автополк, а за ним вся 1-я автобригада карабкалась на кавказское «небо», дорогу придавил плотный, будто спрессованный, туман — не видно было даже пробки радиатора. Провивались сквозь тучи. Каждый поворот — ступень выше! А чтобы сделать поворот на этой многоярусной дороге над пропастью, нужно было несколько раз подавать тяжелую машину то назад, то вперед. Скальные ребристо-каменные склоны горы и узкое полотно дороги, висящее над бездной, не позволяли развернуться сразу, вот и приходилось — метр назад, метр вперед. От соприкосновения-лобзания с горой буфера машины концы его загнулись круче бараньего рога, что, впрочем, помогало преодолевать дарьяльские зигзаги. Предохранительные барьеры уже были сбиты идущими впереди в первом же рейсе «студебеккерами». Эта замаскированная туманом дорога Главного Кавказского хребта со всевозможными поворотами и отрогами была для нас и школой

мужества и дорогой мастерства. Иногда страх, овладев шофером, делал тело деревянным, особенно руки и ноги, будто связывал тебя кто-то тонкими проволочками. Но усилием воли приходилось разрывать эти «проволочки» и работать руками и ногами, да как работать! Некоторые водители не могли вести машину по Военно-Грузинской, а вернее, через хребет Кавказа. Они садились в кабину и закрывали глаза. За руль брались другие шоферы, выделенные специально для штурма неба. А за перевалом руль переходил опять в руки хозяина машины. Бывало и такое: уже поднявшись на верхние этажи дороги, кто-либо из шоферов срывался с них в преисподнюю Дарьяла или буйную, скачущую вниз, словно белогривая кобылица, Куру!

Летающая вниз автомашина тащила за собой длинный хвост грохочущих камней и исчезала в туче пыли. Порой налетала она на другую взбирающуюся в гору машину — тогда летели обе!.. Однажды я видел, как впереди идущая автомашина сделала такой штопор, или, как говорили, «отправилась за нарзанчиком» (здесь из отвесной скалы бил нарзан). Водитель, по-видимому, нажал на тормоз, и красная звезда стоп-сигнала быстро утонула, исчезла в нижних слоях дарьяльского тумана... А там, сверху, в просветах-окнах туч, можно было видеть обсосанные веками и ветрами пики гор. На фоне голубизны от каждой макушки многоглавого старика Кавказа были расплесканы длинные белые живые полотнища снега.

— Смотри, Ваня, какой там ветрище! — говорил мне Сашка Иванов на коротком привале, указывая рукой вверх. — Это горы флаги белые вскинули — нам сдаются!

Наша рота не в полном составе взобралась на главный горб Кавказа. Оттуда начинался спуск, а это не легче подъема. При спуске также закладывало уши — шоферы временно глохли. На одном из поворотов, который впоследствии был назван «Тещинным языком», мое сердце на какое-то мгновение замерло. («На меня упала машина! — мелькнула мысль. — Все!») Сильный удар о крышу кабины парализовал руки. Машина свернула к пропасти, а до нее — метр. Впрочем, до плохого всегда близко. И я чуть-чуть не уехал «за нарзанчиком», на самой кромке бытия остановился...

Как выяснилось, на крышу моей кабины свалилось какое-то животное. С кабины оно тут же сползло в бездну. Сзади ехавший шофер сказал: «Теленок, наверное, а может, и дикий козел. Хвост мелькнул и ноги с копытами, а морду не разглядел...» Размышлять над этим долго не приходилось. Если сваливалась в Терек груженная автомашина, доставать было нечего. Терек и машину перемальывал, как жернов зернышко. И вот, когда уже был преодолен перевал и пройден грозное Дарьяльское ущелье, или просто «Дарьюшка», как его именовали часто водители, машины пошли быстро. Я торжествовал победу! Обгоняя kloчочущий Терек, автоколонны зеленым

водопадом низвергались под склон, летели к городу Орджоникидзе. И вдруг моя машина рванулась к отвесному и еще высокому обрыву! Отдав всю силу рукам, я старался отвернуть «интер» от гибели, было непонятно, почему он рвется только в одну сторону. Остановить машину удалось, не доезжая до смерти всего пять — семь сантиметров. Причиной этого было слетевшее переднее колесо (срезало футорки). Колесо прыгнуло в Терек. Такое было в нашем полку только один раз за всю его историю, то есть чтобы после такой аварии на Военно-Грузинской шофер оставался жив-здоров.

Когда подъехал наш помпотех, я открыл дверцу, чтобы впустить его, а сам хотел встать на противоположную подножку кабины. И лишь открыл вторую дверцу — дунул порывистый ущельный ветер, и моя подушка закувыркалась в Терек! Я успел только ахнуть.

— Да черт с ней,— выдавил помпотех, старший лейтенант Блохин.— Что ты ее провожаешь глазами? Моли бога, что сам не там. Ты, парень, не только, наверное, в рубашке родился, но и в трусиках!

Раза два моя подушка мелькнула и скрылась в мутных волнах гремящего Терека. Уже много-много позже будут написаны автором этой повести строчки:

Я водил по Ладогe машины,  
Ездил по кавказским облакам,  
О шоферах горные вершины  
Быль расскажут людям и векам!..

Остановились мы в Орджоникидзе (бывшем Владикавказе) на лугу, под боком пехотной школы, на самом — теперь уже плоском — берегу Терека, он здесь не бежит, не прыгает с распущенной чалой гривой, как в горах, а словно бы идет шагом, будто устал и состарился... Здесь впервые за всю войну я лег спать без своей подушки. И не спалось — словно товарища потерял!

«Вот, — подумал я тогда, вздыхая и ворочаясь, — своя судьба есть не только у человека. Была она и у тети Пашиной подушки — суждено ей в Терекe захлебнуться». Я смотрел в бездонье кавказского темного неба, яркие, будто начищенные минувшими тысячелетиями, звезды, словно серебряные заклепки, держали его высоко над беспокойной землей... И вдруг дверца моего «интера» распахнулась.

— Эй, Демьянов! — крикнул Сашка Иванов, я его узнал по голосу, но смолчал, разговаривать не хотелось. — Ты что спищим прикинулся? Бери, вот она, а то опять в Терек брошу!

Я приподнялся на локте, а Сашка в этот миг кинул в мою кабину что-то тяжелое, мокрое.

— Спасибом не отделаешься, — заявил Иванов. — Гусыню лови! Гусыню — это значило литр местного ароматного вина.

— Подушку твою спас, еле ожила, искусственное дыхание ей делать пришлось.

Я вскочил, не веря его словам, включил свет и обеими руками схватил какую-то мокрятину... Повертел, рассмотрел: точно — она, подушка! А Сашка объяснял:

— Поехал я машину мыть в Терек, к сдаче готовить. (В Беслане мы сдавали машины другим частям, а сами вновь ехали в Иран.) Утром, думаю, поплюю,— говорил Сашка,— когда вы мыть будете. Да и свободнее сейчас. Смотрю, в свете фар два валуна спокойно полеживают, а один — дышит! Ногой надавил на него — мягкий валун. Потянул и понял — это же наша «барская»! Мы, стало быть, на машинах, а она вплавь за нами. Ну, увидела свой полк на берегу и причалила. Что же, она, думаешь, свою часть не знает?

Я расцеловал подушку и Сашку.

— Ты хоть губы вытри! — буркнул Сашка. — А то меня после подушки точно теленок лизнул! — И вытер щеку рукавом.

Как можно все-таки привыкать и к вещам! Но эта подушка уже не была вещью — она была своеобразным фронтovým товарищем, другом. О ней знал весь 28-й автомобильный полк, и не только он.

Однажды в нашем 2-м батальоне ночевали шоферы-перегонщики машин из Ирана другого — 12-го автополка, но нашей 1-й автобригады, а наш батальон был в рейсе. Подушку на этот раз я оставил дома, в батальоне, болеющему малярией Саше Иванову, чтобы он смотрел «домашние» сны. А когда он куда-то отлучился, один из ночлежников 12-го автополка, уже наслушавшись от Иванова о свойстве подушки, покидая гостеприимный дом, «захватил» с собой и мою подушку, положив Саше другую. Видимо, решил сам посмотреть «домашние» сны. Исчезновение подушки Сашка заметил сразу же и бросился опрометью к старшине! Старшина немедленно позвонил в 4-й батальон, который был на месте в полном составе, готовился к завтраку. И за «студебеккерами» 12-го автополка, которые были с грузом, полетели два «форда» с вооруженными солдатами-шоферами. Догнали водителя подушки на озере Севан. Несмотря на злую малярию, Сашка тоже участвовал в погоне. Он сразу узнал своего недолгого соседа. Подушка была отобрана, а воришка круто наказан нашими шоферами и его однополчанами. Да еще и командир дал ему пять суток, строго сказав при этом:

— За гауптвахтенный курорт отцветут твои васильки под глазами, тогда и выйдешь — не будешь полк позорить.

Обо всем случившемся я узнал, возвратившись из рейса. И после этого «барскую» уже не оставлял никому.

Через месяц после происшедшего наш батальон находился двое суток в казармах. Я был в наряде. На подушке спал писарь батальона — Гоша Горшков. Проснувшись, он заявил:

— Вот это сон я на «барской» видел — всю родню она мне показала, чай пил дома с пирогами! А потом поспал в новой горнице. Мы дом перед войной построили, над самой матушкой Волгой стоит,



что в зеркало в нее смотрится. Ну вот, Лена мне и говорит: «Поедешь опять в свой полк — оставь нам эту подушечку, что ты привез». Я во сне с «барской» там был. «Оставь, — говорит жена, — этот пуховичок! Я его в новую наволочку обряжу и поверх всех своих подушек положу — пусть о коротком свидании с тобой напоминает! И война, глядишь, скорее кончится!» А я отвечаю: «Нельзя, Леночка, это наша солдатская подушка. Мы на ней по очереди спим и всех своих родных видим. Шоферы запротестуют, ежели я здесь этот пуховичок оставлю. И сам тебя тоже не увижу во сне. Ясно?»

А старшина — реплику:

— От замены наволочки на «барской» война не кончается, Демьянову не так давно десятую выдал, а конца войны, хоть с Казбека смотри, не видно!

Война, между прочим, кончилась, когда старшина выдал мне восемнадцатую наволочку. Да одну без него получил. Но о девятнадцатой — после. Вечером писарь Горшков, затянувшись шипучим дымом елецкой махорки, предложил:

— Ребята, давайте подушку, именуемую ныне «барская», переименуем в «солдатскую». Ну какая она «барская»? Не звучит!

Ведь по причине «не звучит» переименовали город Пропойск в Славгород! Предложение всем понравилось. Писарь Горшков что-то поколдовал над бумагой и объявил экстренное собрание пятой роты. Но собрался почти весь батальон. Горшков строгим громким голосом стал читать:

— «Приказ по пятой роте 2-го батальона 28-го автополка 1-й автомобильной бригады Ставки Верховного Главнокомандования (Особый приказ № 1). Товарищи! Шоферская братия! Учтите, что подушка, именуемая «барская», служит не барам, а нам, солдатам самой кровопролитной в истории войны, не за страх, а за совесть, со старым ее названием больше мириться нельзя. На этой подушке мы спим по очереди и видим мирные сны, встречаемся благодаря ей со своими родными и людьми, нам близкими, и учитывая то, что подушка не раз была подложена под головы тяжелораненым на разных фронтовых дорогах и различных фронтах и за другие заслуги перед водителями... — тут Горшков откашлялся, покрутил правой рукой левый закопченный дымом махорки ус, который стал цвета осенних листьев, продолжал: — и учитывая то, что волей злого дарьяльского ветра в свое время эта знаменитая подушка очутилась в Тереке — не утонула в нем, не пузыри пускала, а, борясь со смертью до последней пушинки, пустилась вплавь догонять свою часть, свою родную роту, — с чем блестяще справилась! — она вовсе не похожа на все подушки, что полеживают на кроватях, прикрытые покрывальцами, а находится все время с нами в строю — в походах! Учтите, вышесказанное, славную подушку, именуемую ранее «барская», предлагаю переименовать в «солдатскую», что отвечает духу и смыслу нашей дей-

ствительности! Приписка: если кто-либо назовет эту подушку старым наименованием, то есть «барской», тот подвергается внеочередному наряду! 1944 год, 1 марта. Закавказский фронт». — Горшков вскинул руку: — Кто «за»?!

Лес рук. (И лица серьезные.)

— Против? Никого!.. Воздержался? Один! Петров, что скажете?

— Я хотел сказать, что не мешало бы добавить одно слово. Не просто «солдатская», а «гвардейская солдатская» подушка!

— Молодец, Петров! Кто за поправку? Единогласно! — Тут писарь Горшков подал лист старшине: — Подпишите, товарищ старшина. Думаю, что и командир роты поставит свою подпись. Но я понесу ему на подпись тогда, когда у него настроение распогодится. Он бросил курить — больно хмур ходит, а потом утвердит приказ, — уверенно закончил Горшков.

— По случаю переименования подушки, — сказал я, — старшина должен ей новую наволочку выдать.

Старшина кхекнул и пошел за наволочкой...

\* \* \*

Шоферы — народ энергичный, веселый! Любят и могут шутить, но и горевать тоже.

В километрах тридцати от столицы Армении, где размещался наш полк (в старых еще царских казармах), было свое шоферское кладбище...

Вместо деревянных и железных обелисков со звездочкой кто-то придумал, а потом так и утвердилось ставить на могиле погибшего шофера руль-баранку. Она надевалась на железный штырь или просто лом, если не было у нее своей рулевой колонки, и этот стержень вкапывался в землю, а земля в Армении каменистая, выдалбливаешь могилу — огонь из-под лопаты и лома брызжет... Лица шоферов при этой церемонии были тоже серо-каменные, будто вытесаны из скалы. Бывали случаи, когда аварии происходили, и это чаще всего, когда водитель в длинном бейсе засыпал за рулем — монотонный гул мотора был своеобразной колыбельной песенкой. Поступило распоряжение: если очень клонит ко сну — останись, вырули из колонны и у любого водоема умойся! Говоря откровенно, 1-й автобригаде спать было некогда, нужно было выполнить план по доставке импортных автомашин фронту за себя и за товарища. Малярией тогда в Закавказье болели очень многие водители, а ездить приходилось через перевал. Вместо положенных двадцати километров в час ездили в горах куда быстрее. А ждать и догонять — дело неважное. Каждый знал! Поэтому старались бороться со сном за рулем. И каждый посвоему боролся: кто пел, кто вспоминал хорошее, кто плохое. Другой

раз думалось: «И как это я мост проскочил благополучно? Ведь спал за баранкой, проскакывая его! Вот трякнуло — и глаза открылись». Видно, руки были здорово натренированы. Так натренированы, что свои «глаза» имели. Но не всегда!..

Пришлось ставить баранку, врубать в землю Могупа и Саше Иванову, моему закадычному другу, спасшему подушку. Уснул на быстрой езде. Прошли десятилетия, но илом времени не затянуло его в моей памяти — веселого, остроумного Сашку!

— Когда с гор этих смотришь, сколько девчат хороших видишь! — говорил он. — А жизнь улетает так же быстро, как из кармана получка, и молодость на миг в гости приходит — заячий хвост позавидовать ей может в короткости!

— Да, любовь, любовь, — в другой раз протянул Сашка. — Печка накаляется дровами, а любовь ревностью. А посему моя любовь остыла — не ревную свою благоверную.

— Отчего же? Чай, не кнутом тебя в загс гнали!

— Отчего, спрашиваешь? Скажу — отчего. У нее — жены-то моей — характерец... Его на базаре не продашь и дома не нужен: ссору любит, а домашняя ссора — хуже войны. На войне недолет и перелет бывают, а тут — каждое слово в тебя! Так что живу на всякий случай — может, повезет! Понимаешь, Ваня, жена должна быть такой, чтоб ей лепестки роз завидовали, а моя какая-то кирзовая, — и похлопал ладонью по голенищу. — Я, понимаешь, Ваня, природу люблю. А она мне раз возьми и брякни: «Я с природой больше всего соприкасаюсь, когда за стол сажусь!» И я охладел к ней. Нужна она мне такая, как кобыле второй хвост! Словом, пожив с нею, я понял, что человеку больше приходится переживать, чем жить!

— Ну ничего, Саша, — успокаивал я друга, — сочтем эту твою первую свадьбу репетицией к настоящей женитьбе. До пятидесяти лет не любовь, а сердечная корь, — говорил я, — а всего лучше на рыбалку жену бери почаще — понежнееет! Вода твердость не любит, сухари вон и то мягкими делает!

— И правда, — соглашался Сашка, — на буксире ее буду на природу вытягивать, — и заливался звонким смехом, — только она упираться станет — все тросы порвет! — Прохохотался и добавил: — А холостяком я неплохо жил. Работой домашней не утомлял себя, лишние полгода простыню не постираешь, кровать в грязелечебницу превращается — не надо в санаторий ехать радикулит лечить, а нас, шоферов, он любит! Ну а гладил я воротник да манжеты, а на остальное кто тебе будет под пиджак заглядывать?!

Но я знал, что Сашка наговаривает на себя. Он любил «гиену» — так величал он гигиену. Машину и ту как начистит — солнце, на нее глядя, и то, наверное, щурилось! И вот баранка над булыжным холмиком — а под ним Сашка! «Да, все ненадежно, как девичья фамилия», — вспоминаются иногда слова Сашки.

Но врагом номер один был для нас все же Крестовый перевал — «Главгора», или «Гробгора», как его называли вкратце шоферы — последнее название не без смысла.

Лишь наступала весна, и лавины снега сползали с поднебесья и увлекали за собой все новые и новые снежно-каменные массы. Горы шли в наступление и запирали дорогу на многэтажный каменный замок! Начиналась борьба со стихией. Спрессованный столетиями снег приходилось рубить, долбить, пилить пилой и взрывать. В результате получались снежные коридоры. Их стены высились в отдельных местах до пятнадцати — двадцати метров. К тому же эти коридоры были узкие, местами за их стены задевали борта автомашин, вызывая большие осыпи. Вот за что и называли Крестовый перевал «Гробгорой». Двадцатиметровая высота коридора — это высота четырехэтажного здания! Такие участки коридоров назывались «Пронеси, господи!». Там, на вершинах голубоватых ото льда и снега коридоров, на фоне неба похаживали дозорные солдаты: ежели начинался горный обвал, они выстрелами извещали нас о грозящей опасности. «Сигнал бедствия», или, как его именовали водители, «Спасайся кто как может!». Но пользы большой в силу обстоятельств принести они не могли. Потому что идущим друг за другом автомашинам прятаться было некуда. А горные обвалы быстроногие! Иногда ледяные стены коридора под напором их «тылов» — напирającego сзади снега — смыкались, как гигантские клещи, и машины раздавливались, как орешки, и все летело в Дарьяльскую пропасть. Стометровые холмы-горы выросли потом над погребенными автомашинами! Помню, как однажды при многочасовом нечеловеческом труде солдатам удалось откопать, вырвать из плена четырнадцать автомашин нашего батальона. На раскопках снежно-ледово-каменных могил участвовали и девушки-саперы. Они всегда были на крыше перевала, борясь с заносами и обвалами под свистящими буранами.

Эти четырнадцать автомашин «студебеккеров» не снесло обвалом в Терек только благодаря тому, что над ними нависла скала — гранитный козырек. Их только замуровало... Хорошо помню первые минуты, проведенные в плену у обвала.

В кабине мгновенно наступила ночь, сдавленные дверцы жалобно пискнули, их ручки не шевелились. Наступила гробовая тишина, лишь изредка потрескивали в клещах обвала железные кости автомашины.

Страх сдавил горло. Часто и гулко застучало сердце. Застучало в висках.

Горы, люди, война — все куда-то ушло, исчезло. Ясно было только, что ты один. От ужаса стали путаться мысли. Собственный крик о помощи летит обратно в грудь. Одна за другой быстро сменяются яркие, но обрывочные картины детства, и все они связаны с ветром: вот над самым ручьем разбрасываются веером и вновь копятяся порывами ветра зеленые ветви березы... Вот бегут по реке высо-

кие волны, осыпанные рыжинками солнца, — это ветер их гонит, ветер. А ветер — это воздух. Как его там много! Это лучшее, что есть в мире, — воздух!!! Но вот уже седая пурга Ладоги рвется в кабинные стекла, а дверцы не открыть, нестерпимо душно! Полетел густой красный снег... «Почему я не подушка, не гаечный ключ? — мелькнула мысль. — Им не нужен воздух!..»

«Будет воздух», — шепчет комбат и, прижав к моему сердцу баллонный насос, усиленно накачивает сердце воздухом, как спущенное колесо. И сердце раздулось, в груди ему стало тесно!

«Лопнет, — кричу, — сердце. Хватит качать!»

«Пусть лопается, — шепчет комбат, — мы его тогда завулканизируем». — И качает, качает!

Но вот Сашка Иванов, которого недавно похоронили, смеется и накидывает мне на шею буксирный трос.

«Тебе, — говорит, — в гору не подняться. Я помогу, Ваня!»

И я бегу за его «студебеккером» на буксире. Гора и вправду крутая, встаю и вновь падаю!

«Сашка, остановись!» — хочу крикнуть, но горло сдавило тросом — не могу крикнуть! А во рту почему-то оказался чеснок. Хочу его проглотить — не получается: застрял в горле невыносимой тяжестью. А тут еще у меня на груди пляшет гора Казбек в своей снежной папаше. Пляшет и разваливается, и все летит ко мне в рот...

«У него снежный обвал в горле, — кричит врач, — бегите от него!.. Сейчас взорвется!!!»

А вверху медленно летит черный фашистский бомбардировщик. И летчик огромной кистью закрашивает черной краской небо и солнце, и вдруг самолет падает прямо ко мне на грудь!..

\* \* \*

Лежал я, говорят, на своей солдатской подушке, закусив ее угол. Кто-то тыкал мне в нос длинные иголки. «Да это же нашатырь, а не иголки, — сказала, склонившись надо мной, мать, — теперь я у вас в полку помпотехом работаю. Ну просыпайся, Ванюша, а то ужин остынет!..»

И я проснулся...

Бегут, бегут машины по перекрученной дороге Дарьяла. Глаза закрываются сами, а страх не дает им закрыться — ведь в темноте нет воздуха, ветра! А машины бегут, бегут. Кажется, что красные угольки стоп-сигналов все ярче раздувает на поворотах ветер. Сидел я не за рулем, а пассажиром!.. Везли нас, откопанных, в госпиталь.

\* \* \*

В госпитале у всех было по одной подушке, а у меня две. Одна из них моя, солдатская. Старшая сестра сказала:

— Друзья упросили взять эту подушку, — скорее, говорят, больной поправится. Она, значит, ваша «сослуживица»? — и улыбнулась. — Мы ей наволочку только сменили, старая-то слишком чумазая была! (Это и есть девятнадцатая наволочка.)

\* \* \*

Победа нас застала в Беслане, на Кавказе. 9 мая 1945 года утром кто-то выдернул у меня из-под правого уха подушку и подбросил ее вверх:

— П-о-б-е-д-а!!!

Я сперва ничего не понял, а потом не поверил — сон это, может, на солдатской — она же не любит войну, как говорил Сашка. Но моя подушка взлетела вместе со шляпами высоко-высоко в воздух — ПОБЕДА!!! (Вместо пилоток мы носили зеленые шляпы. Эта моя шляпа сейчас в городе Пушкине в литмузее 408-й школы.)

Я наконец понял: правда — победа!!! И голова от этого долгожданного слова закружилась, как от хмельного. Победа — одно это слово вмещает в себя много понятий. Победа — это мир, дом, радость, счастье! Всего и не перечтешь!

И есть ли что дороже мира? Полностью его оценить могут только люди, познавшие войну.

Командир полка — Илья Васильевич Троицкий кому-то поручил привезти бочку вина, отсчитав для этого собственные три тысячи рублей, — победа!!!

На моей машине соорудили трибуну, под конец торжественного митинга взошел на нее и я.

Но для выражения радости не находилось слов. Я потоптался в кузове «студебеккера», соскочил на землю, выхватил из кабины солдатскую подушку и влез на трибуну снова.

— Ребята, товарищи командиры! Желая вам скорейшего возвращения к матерям и невестам, а женатым — к женам на мягкие пуховые подушки, на двупальные кровати, вы заслужили и нежность и ласку!... А кто не женат, пусть женится — невест хватит, — пошутил я под конец — это не хлеб, не по карточкам их получать... Салют! — И, зубами разорвав угол наволочки солдатской подушки, я захватил горсть пуха и подбросил его над головами воинов... — Ура!

— Урр-а-а!! — раскатилось над площадью луга, который был уже зеленее фуражек пограничников. — Урр-а-а!!

И в этот миг над горами Кавказа загрохотал весенний веселый майский гром. Казалось, что само небо радовалось нашей победе и вместе с нами гремело «Ура!» над родной израненной землей, салютуя золотом молний весне и миру!..

\* \* \*

Вскоре привезли бочку с вином и луг бесланский покрылся скошенными хмелем солдатами. «А не закончись война, могли бы быть скошены и не хмелем,— подумалось мне,— ведь из рук смерти коса бы еще не была вырвана!»

Командир полка в кузове на солдатской подушке, обняв ее руками, похрапывал, смотрел первый настоящий мирный сон!

Под вечер праздник разгорелся с большей силой, на улицах обнимались и целовались впервые увидевшие друг друга люди...

И вдруг на углу одного переулка я узнал тетю Пашу! Тетю Пашу, которая отдала мне эту солдатскую подушку, бывшую «барскую». Я не верил глазам — тетя Паша теперь одаривала солдат цветами!

— Тетя Паша! А мне?!

Она посмотрела на меня и продолжала свое дело.

«Не узнала», — решил я и протискался к ней.

— Тетя Паша, старых знакомых не узнаешь?!

— Вы, молодой человек, обознались,— смеясь, сказала женщина, подавая мне душистую ветку жасмина,— с Победой, сынок! А я не тетя Паша, а тетя Маша! Верно, у меня есть сестра в Волховстрое, та — Паша! Недавно уехала туда, месяц у меня гостила. А не с ней ли ты спутал? Да нас многие путают, мы с ней двойняшки! Откуда ты? Уж не из Волховстроя ли ты чудом? Сама до замужества жила там — родина это моя. Ну, идем скорее, расскажешь на завалинке. Чует мое сердце, что земляк ты мой!..

\* \* \*

Скоро наша 1-я автобригада пересекла Украину и полетела по дорогам Польши на запад... А потом, как говорили шоферы, «повернулись радиаторы на восток». Автомашины, доехав до Москвы своим ходом, были погружены на железнодорожные платформы: 28-й автомобильный полк теперь уже готовился к новой войне — с Японией...

И на Тихом океане  
Мы закончим свой поход! —

запели солдаты-шоферы.

\* \* \*

После всех бурь и войн — величайших гроз на земле — пришлось мне служить до демобилизации в Москве. Возить заместителя коменданта Москвы по политической части. В одно воскресное утро радио стало приглашать демобилизованных и демобилизующихся солдат

на особую стройку — восстанавливать, поднимать из пепла города и села, а в том числе и город поэта — город Пушкин! Не раздумывая, я принял решение ехать на эту почетную стройку. И уже через несколько дней шагал под Шушары в землянку, где жили мать и отчим. Присев на болотную кочку, я снова стал перечитывать письмо матери: «...После того как ты вывез нас по Ладоге в город Устюжну, впоследствии в этот городок приехал вербовщик, и мы с батюшкой завербовались под Ленинград (лишь бы поближе быть к родному городу). Теперь мы караулим сено совхоза Овчино, живем в бывшей солдатской землянке. Найти нас можно так: с Витебского вокзала поедешь на город Пушкин, и выйдешь на станции Шушары, и по Московскому шоссе пойдешь в сторону Москвы до моста, а тут свернешь вправо — в поле. Затем увидишь землянки, покричишь — я или батюшка услышим! А если поедешь с Московского вокзала, то доедешь до станции Славянка и пойдешь к Московскому шоссе вслед за большими электрическими столбами по полю — они приведут тебя к Московскому шоссе — тут и землянки рядышком...»

И вот я иду вслед за электрическими столбами-опорами широким солдатским шагом. На лужицах под ногами похрустывают льдинки, дует в спину холодный октябрьский ветер, а спине тепло — за плечами вещмешок с солдатской подушкой.

У Московского шоссе я быстро нашел четыре землянки, и все они были пусты. Я стал кричать и, взяв в одной из них немецкую винтовку, выстрелил. И вдруг где-то под землей слабый глухой голос: «А-а!» — из-под ног!! Я закружился на одном месте.

Голос под обвалившейся землянкой! Все сбросив — и вещмешок и шинель, я стал лихорадочно раскапывать под мелким дождем и снегом тяжелую глину и выворачивать бревна. И хорошо, что здесь было в достатке топоров и лопат — черенков я переломал много!.. Так я откопал заживо погребенных самых близких своих родственников. А что они при этом испытали, мне знакомо! Вот как на первых порах встретила меня «гражданка».

Впоследствии я с ужасом думал: «А что было бы, если я хоть на полдня позже демобилизовался или на несколько часов позднее прибыл поезд?!»

А с подушкой опять приключение: пока я был занят спасательными работами, ее намочил усилившийся дождь. Пришлось положить ее на треногую скамейку к времянке — пусть просохнет, решили мы, а среди ночи всех троих разбудил надсадный кашель — мы задыхались! Кто-то нечаянно ночью толкнул подушку в тесной землянке к печке, а она загорелась от неостывшего бока времянки, начала чадить. «Вот,— подумал я,— огневые годы пережила, не вспыхнула, а тут на тебе!» Загасив тлеющий бок пуховика, при темном свете патронной копилки я завернул подушку с обгорелым боком в плащпалатку и положил себе под голову: «Целее будет!»



В мирную жизнь я входил без всякой передышки, привала. Пришлось устраивать новоселье в соседней землянке, лопатой выгребая из нее грязь и лягушек, которых я не переношу. Но тут я их мял, рубил и топтал. Жизнь — дело суровое: чего не хочешь делать — заставит! Я работал не покладая рук, на потом ничего не откладывая, знал: у «потом» свои дела будут! Довершая устройство военного гнездышка-землянки, я подумал: «Да, обвалы не только в горах Кавказа!..»

С этого дня мирная жизнь закрутила меня так, что недосуг было думать о прошлом.

Не дай мне подножку грипп, не свали меня, — может быть, и доныне некогда было бы вспомнить о моей солдатской подушке и о наволочках, которые сшила мать! Это была ее последняя забота обо мне...

Почему так стремглав летят годы? Теперь уже седую голову кладу я на мою солдатскую подушку и вижу иногда далекое-далекое: наши фронтные дороги и летящие по ним зеленые стрелы автомобильных колонн. Как ни быстро мчались они, а жизнь обогнала их. Они где-то там, позади, в обозе воспоминаний.

Воспоминания!.. Да, это тоже своеобразная «машина» мыслей, делающая «задний ход» — вплоть до самого детства! И сколько раз вздохнешь, пока делаешь этот «ход» в прошлое. Как жаль, что жизнь так коротка, в ней успеваешь сделать столько ошибок — и не остается времени на их исправление!..

Часто мне на солдатской подушке снятся и дорогие лица однополчан. «Иных уж нет!..»

В 1958 году, когда умерла мать (есть ли на свете большее лихо, чем эти два страшных слова: «Умерла мать!!!» — они оглушительнее и страшнее, чем горный обвал!..), я сказал:

— Положите в гроб маме... мою солдатскую подушку!

И это сделали...

И вот после похорон матери я лежу на диванчике и обжигаюсь слезами. И вдруг вскочил на ноги — галлюцинация! Передо мной солдатская подушка! Откуда она?!

Оказалось, что соседи, зная историю этой подушки, заменили ее перед самыми похоронами другой...

Вот почему солдатская подушка со мной поныне.

Между прочим, не так давно я купил своей подушке новую наволочку — серо-голубого цвета, с большими синими цветами.

Серо-голубой цвет напоминает дорогу, а синие цветы кавказское небо!.. Это мой подарок подушке к тридцатилетию нашей Победы!

И уж совсем недавно, когда заканчивал этот рассказ, я увидел на солдатской подушке сон, будто я снова молод и снова служу на Кавказе. Бесконечная колонна нашего 28-го автополка спускается с облаков. Отвесно оттуда же падает Терек — кажется, что остроко-

нечные горы прокололи своими гранитными пиками небо и его голубизна рванулась в Дарьяльскую бездну! Я люблюсь этим и спешу навстречу автомобильной колонне. Неожиданно, как это бывает на юге, на землю слетает теплокрылый ветер. И вдруг в мою машину влетает осколок снаряда, в кабине от пуха нельзя дышать. Я остановил «студебеккер», выскакиваю из машины. Ко мне подбегает писарь Горшков и начинает меня успокаивать. «Ерунда,— говорит он,— только дверцу пробило и подушку нашу ранило, тебя же не задело! А пух соберем — не впервой». А пух летит и летит... Весь облепленный пухом с ног до головы, будто в белом маскхалате, стоит поодаль грустный Сашка Иванов, он что-то кричит мне, но звука нет! Хотя и недалеко стоит.

Но вот я бегаю уже один по бесланскому лугу, где наш полк когда-то торжествовал победу. Никого уже нет. Нет и Горшкова... Бегаю и ловлю пушинки, а они тают в моей руке. «Так это же снежинки, а не пушинки!» — рассуждаю я вслух и сажусь в кабину. В это самое время ко мне подбегает Игорек, внучок, и говорит: «Ты не так ловишь, дедушка, надо подпрыгивать и ловить!»

«Оп! Оп!» — подпрыгивает Игорек и ловит снежинки, и они у него не тают в руках, а вновь пушинками становятся.

Но вот вечер сменила густо-темная кавказская ночь, мы сидим с Игорем над Терекон и смотрим в небо. Млечный Путь мне кажется седой Ладожской трассой — Дорогой жизни! Вон какая она серебристо-белая, будто в инее, кое-где видны черные пятна — провалы...

«Нет, не для всех она была Дорогой жизни,— думаю я.— А это хорошо, что ее подняли в космос и там музей устроили: вечный холод — не растает в небе Дорога жизни. А экскурсантов туда космонавты возить будут!»

А звезды кажутся мне то зажженными фарами автомашин нашего автотряда, то огнями салюта незабвенной далекой весны 1945 года!

«Да это огни того салюта не погасли,— рассуждаю я,— только так высоко залетели за эти годы!»

«А? Что? — спрашивает меня внук.— А? Что? Дедушка!»

«Видишь,— отвечаю Игорьку,— это огни салюта!»

«А ты можешь, дедушка, сосчитать огоньки эти?»

«Нет,— говорю,— не могу».

«Я тоже не могу,— горестно признается Игорек.— Я только до десяти считать умею, а их тут больше! А ты почему не можешь,— пристаёт ко мне Игорек,— ты же до многа считать умеешь?»

«Не могу,— отвечаю я Игорю,— их тут столько, сколько солдат в войну павших! Сражались они, чтобы солнце из плена фашистского вырвать для тебя — задыхалось оно в дыму!»

«А их много упало, солдатиков?» — не отстает от меня внук.

«Упало? — переспрашиваю я.— А вот считай сколько!» — и показываю ему на звезды.

Игорек запрокинул голову вверх, пошевелил губами и обиженным голосом сказал мне:

«Ну, дедушка, я же тебе говорил, что до десяти только считать умею, а их тут больше!..»

## ПОСЛЕДНИЙ РЕИС

В тот раз в кузове моей машины сидели особенно истощенные блокадники — воистину кожа да кости!

Подъезжая к Дороге жизни, я пошутил:

— Ну вот, братцы-ленинградцы, мы еще на этом берегу, а мелодичный звон ваших косточек на том слышен!

Это я сказал знакомому музыканту. И он и все сидящие в кузове под натянутым брезентом улыгнулись, но улыгнулись больше глазами — без участия щек... Щек-то ни у кого почти не было — вместо них какие-то серо-пепельные досточки.

Дорога жизни уже отслужила свой срок — автомашины ныряли порой по самое брюхо в воду, гоня и закручивая в серебряные жгуты пугливые волны.

Образовавшиеся поверх усталого ладожского льда широкие озера встречались часто. И у шоферов и у блокадников не раз екало сердце при форсировании этих опасных водных пространств: пересекая их, машины были похожи больше на своеобразные катера, чем на самих себя: глухо и зловеще бормотала талая наледная вода между туго накачанных шин. И нелегко было состарившейся к весне Дороге жизни выдержать без конца бегущие перегруженные машины, особенно в последний разрешенный рейс.

От сильного теплого ветра и зачистивших дождей Ладожская трасса умирала на глазах.

Полные сумерки настигли нас на середине озера, и тут началось: мокрый лепешистый снег старался зашкатулить лобовое стекло. «Дворник» не успевал расчищать его.

В белых маскхалатах зенитчики и зачехленные в белое зенитки выхватывались из мрака багровыми вспышками очередных залпов. Зимняя гроза сотрясала Ладогу. Но еще больше — человеческие сердца, тревожно стучавшие в худой, истощенной груди блокадников!

Красные клинья огня то там, то тут вбивались раскаленными стволами орудий в изрубленное мечами прожекторов небо. И вдруг сильно вздрогнул и заколыхался лед. Высокая кроваво-красная гора огня и дыма взметнулась на мутно-белой равнине озера.

Кабинное стекло, зенитки, снег — все будто загорелось дрожащим пламенем взрыва.

В этот момент особенно остро сознавал каждый, что под колесами автомашины не одна, а как бы две дороги: одна из них ведет к спаси-

тельному сытному берегу, другая — к илистому, покрытому вечным мраком дну глубокой Ладоги!

Черные заплаты провалов и бомбовых пробоин во многих местах пятнали израненный лед студеного озера.

— В объезд! В объезд! — кричит хриплым, простуженным голосом белый халат, размахивая красным флажком. — Сворачивай, не видишь, что ли?!

И ничего нет удивительного, если и не заметит шофер затянутую тоненькой ледяной пленкой, слегка припудренную снегом полынью...

— Не мешкай, не мешкай! — торопит белый халат водителей.

Лица у этого халата не видно — оно все залеплено от бровей до подбородка мокрым снегом.

Гул зениток не дает расслышать, что еще кричит-командует белый халат. Клокочет, бурлит холодная вода под ребристыми шинами и каждым своим звуком словно ошпаривает тело. Но уже недалеко желанный берег — темная его полоска радует глаз! И здесь, почти у самой его кромки, моя машина с хрустом осела на правый бок, еще полностью не преодолев наледное озеро.

Выскочив из кабины, я обнаружил, что заднее правое колесо по самую ступицу провалилось. Попробовал выбраться, но безуспешно. Брезент в кузове зашевелился — тревожные голоса, вопросы.

— Ой, кто там в кузове на правой стороне с тяжелым характером сел? — услышали блокадники мою шутку. — Так надавил этот характер, что колесо спустило!

А сам голосую. Но две машины на полном ходу обошли нашу. На буксировку надежды мало, нет здесь и регулировщика.

Выручила смекалка: по локоть погрузив руки в жгучую воду, я закрепил конец буксирного троса к ребрам колесного диска, а другой его конец петлей накинул на торчащую когда-то обломившуюся глыбу льда и включил первую, самую большую скорость — колеса завертелись и стали наматывать на ступицу буксирный трос. Ледяная тумба выдержала! Получилось что-то вроде лебедки; и машина вытащила сама себя из провала без посторонней помощи.

Несмотря на промозглую, зябкую ночь и мокрые рукава, выехав на сушу и вытирая ушанкой пот с лица и шеи, я подумал: «Ну и горячо же на ладожском льду. Всю зиму пробудь на нем — о печке не вспомнишь!»

## КЛЫКАСТАЯ СОВЕСТЬ

Хороша дорога, если она дорога. Но на этот раз под колесами моей машины дорога оказалась из средних — петть нельзя, конечно, если язык дорог, а мечтать можно. Едешь по ней, и одна мысль сменяет другую, одно воспоминание — другое!

Вот ясно-ясно увидел я нахмуренное лицо нашего фронтового сапожника дяди Павла, философствующего с каким-то солдатом-шофером. «Собаку,— говорит сапожник,— узнаешь сразу: хвостом виляет — значит, радуется тебе, не хватит за ляжки, а у человека хвоста нет — у человека язык. А язык дело, сам знаешь, такое...»

В этот миг я посмотрел на куст, и картина с сапожником, будто зацепившись за него, осталась где-то за кузовом.

А перед мной уже другая картина.

«Слушай, Демьянов,— обращается ко мне командир роты,— это правда, что ты, приехав в Москву, спрашивал у прохожих: «Как мне пройти в трикотажную картинную галерею?» Вместо Третьяковской галереи, а?»

«Честно, правда! Клянусь!»

«Чем?»

«Своей бессонницей на посту!»

И я увидел смеющееся лицо ротного.

Перед кабиной пролетела птица, и эти воспоминания, словно на своих крыльях, унесла за вершины высоких мокрых сосен.

И тут же всплыло в памяти злое лицо помпотеха, кричащего мне у гаража:

«Какие тебе новые скаты дать, где я их возьму, не привезли еще резины, а ты затвердил: старые, старые колеса! У тебя одного, что ли, такие? Найди помоложе!»

«Где их найду?»

«А вырودي и скажи — нашел!» — заключил помпотех.

Поднялся вихрь, повалил неожиданно снег, и лицо помпотеха растворилось в снежной мути.

И вдруг недалеко от дороги я увидел нахохленную ворону, и в голове завертелась строчка: «На суку сидит ворона, терпеливо лета ждет...»

«Стихотворение какое-то проклевывается», — подумал я и, записав строчку эту на щитке у лобового стекла, прибавил газу.

Не проехав и пяти километров, я увидел загорающую полуторку (на этот раз и у меня был «газик»). Я подошел к кабине чужой машины, чтоб сказать не без «ласки» — чего, мол, на дороге встал, не отъехал в сторону! Но ругать, как выяснилось, было не за что: в продуваемой со всех сторон кабине полуторки, съезжившись в три погибели, сидел молоденький шоферик и дул себе на пальцы. И был он какой-то совсем беспомощный. Верно, и я еще не старик был тогда: до тридцати трех лет не хватало. Но против него я выглядел солидным. Ему было ли двадцать?

— Что ты на пальчики дуешь, — спросил я, — ай накалились от безделья, студишь теперь?

Шоферик плачущим голосом пропищал:

— Бе...бензин кончился, а до ближайшей деревни еще пятнадцать

километров, хоть бы до деревни доехать, но тут и машины не ходят! Довезите меня, а?

— А как же ты бензин не рассчитал?

— Я рассчитал, его бы хватило, если бы не попал в яму — избуковал бензин, даже ватник под колеса бросал, чтоб выехать!

«Ну, такое и со мной бывало», — подумал я, смотря на колеса чужой машины — новенькая «обувь» у полуторки, даже протектор не стерт, и кое-где еще на баллонах резиновые пупырышки по краям висят!

И надо же, позавидовал я, такому молокососу машина новая досталась, а моя от пробки радиатора до стоп-сигнала — бабушка, а не машина! Этот «газик» — наказание: то гук чини, то еще чего-либо! И туг же в ухах, несмотря на метель, прозвучали опять слова помпотеха: «Где хочешь найти колеса... выроди и скажи — нашел!»

— Знаешь что, парень, — стараясь перекричать пургу, надрывался я, — глядя на тебя, одну песню я вспомнил!

— Какую? — снова пропищал шоферик, только еще тоньше пропищал.

— «Как в степи глухой замерзал ямщик», — ответил я.

Шоферик слабо улыбнулся.

— Так вот, дружище, придумал я, как спасти тебя! Видишь, моя машина с грузом. Твоя пустая. Мои колеса еле дышат, твои добрые! Так вот и в жизни бывает — здоровяк с тросточкой разгуливает, а на больном — судьба с кнутом! Давай сейчас переобуем машины. Моя часть рядом, недалеко! — А сам подумал: «Ничего себе рядом!» — и продолжал: — Ты меня выручишь, а я тебя: ты поможешь мне груз довести, одолжив мне свои колеса, а я твой бак бензином по пробку заполню в деревушке, когда до нее доберемся. В ней и обогреемся! Оба живы останемся, иначе — хана: дед-мороз шутить не любит, все усиливается, а ночь недалеко!

Шоферик обрадовался, согласился.

А кто бы на его месте не просиял?!

За работой при «переобувке» машин согрелись оба. Я поторапливал шоферика, ветер — обоих!

У этого шоферика даже буксирного троса не оказалось. «А без него по таким дорогам путешествует только тот, у кого голова лишь для шапки на плечах находится!» — резюмировал я мысленно.

У меня были два буксира — трос и проволока. Я взял шоферика на проволочный буксир, и мы поехали по занесенной дороге. С грузом машина буксует меньше. Я тащил шоферика. Так добрались до первой деревни, уже погружавшейся во мрак. Я подъехал поближе к одному дому, из трубы которого ветер вытягивал дым и тут же рвал его на части. Подкатив к дому, я чуть притормозил и снова дал машине газ — рывок! Проволока, конечно, такой резкости не выдержала — лопнула, тут же раздался и второй выстрел. «Это мой баллон теперь

на его машине лопнул...» — понял я и погнал свою во всю прыть. Сздай гудки — «мол, куда же ты, я оторвался».

«Теперь не замерзнешь — в теплой хате сидеть будешь, не в поле, и машина под окнами, караулить ее хорошо», — мысленно ответил я на гудки, нажимая на акселератор...

И радости моей не было предела: «Теперь из кабины вылезать не надо, баллоны чинить своей капризной драндулетке-полуторке».

На всех парах я летел в свою часть, а пурга старательно заметала рубчатый след новеньких колес. Но красный зрачок сигарки, отражаясь в лобовом стекле, укоряюще смотрел на меня.

И вдруг радость сменилась мучительным рассуждением, я представил, как шоферик будет «загорать» с моими колесами на зимней дороге. А случись это где-нибудь в метель да в поле — замерзнет «ямщик», погаснет его жизнь, как огонек спички на ветру! К тревожным думам быстро подключилось и мое чуткое сердце — защемило оно! А тут я еще представил родственников шоферика, читающих похоронку: «Ваш сын погиб...» И, на все лады браня свою клыкастую совесть, я развернул машину и полетел, развивая предельную скорость, навстречу танцующим в свете фар миллиардам снежинок в деревню, в которой оставил шоферика!

## ВСТРЕЧА

Весна еще была в пленках апрельского тумана, но быстро окрепла, и от ее теплого дыхания осели — похудели сугробы, почернел волжский лед...

Находясь за большой Волгой, за Кимрами, я заторопился в часть: ехать-то к Ржеву — через Волгу перебраться надо! Но груз мне получить вовремя не удалось, а когда выехал, погода еще больше раскапризничалась: пошел дождь, волжский лед вспучило, появились черные полыньи. Дорога на льду ошетибилась вытаявшим мусором, старой соломой и всем тем, что за зиму падало из кузовов и саней.

Когда я подъехал к берегу, то увидел, что на многих участках ледяной волжской дороги, на особо ненадежных местах (а это было почти сплошь) набросаны доски. По ним мне и нужно было спешить.

Но только я спустился с откоса на Волгу, с другого берега на лед затрусилась какая-то лошадь, таща за собой сани-розвальни, в них кто-то яростно размахивал кнутом. Самого кнута, конечно, не было видно, река здесь широкая, а маячившую руку видно.

Я начал давать гудки, чтобы возчик образумился, догадался и повернул обратно: доски-то наложены только на дороге, а свернуть с них смерти подобно! Но седок и не думал внять здравому разуму. Как после выяснилось, он был здорово под парами. Меня взбесило, что

кучер такой настырный, уж не мыслит ли он, подумал я, что «ЗИС-5», до краев бортов нагруженный, будет сворачивать с устланного досками пути на трухлявый лед и уступать его сивке-бурке дорогу?!

Просигналив еще несколько раз, я на третьей скорости спешил на другой берег. Вокруг на размытом льду были видны провалы, промоины, в которых вертелись и бесновались могучие внешние воды. На одном участке дорога была похожа на деревянную панель — доски настлали не жалея! Здесь я включил четвертую скорость. Машина побежала быстрее. Но вовсю намахивал кнутом и санный седок, будто хотел специально встретиться на середине освобождающейся от зимних оков Волги. Так оно и вышло — мы встретились: справа и слева широкие размывы, из-под хрупкого льда выныривали небольшие ноздреватые, изъеденные теплом льдинки и в стремительном хороводе кружились в этих размывах. Лошадь, заострив уши, остановилась всего в метре от радиатора моей машины. Она явно мыслила лучше своего хозяина.

— Куда ты лез?! — закричал я бородатому дяде. — Разве не знаешь, что машине нужно уступить путь, я ведь на льду был, когда ты еще на него не спустился!

Чернобородый мужик что-то тоже мне ответил, но я не расслышал, что именно, из-за работы мотора. Но вот дядя с силой потянул за правую вожжу и стеганул по лошади кнутом. Лошадь встала на дыбы, захрапела, но с дороги не свернула.

— Назад осаживай, здесь полынья близко! — закричал я.

Возница, опершись ногами в передок саней, натянул вожжи. Видимо, и он понял наше критическое положение. И вот одна вожжа развязалась — и дядя развалился в санях.

Метра три ему все-таки удалось отъехать от моей машины. Я снова подъехал к лошади вплотную, и вдруг и лошадь и сани с седоком в них стали на моих глазах плавно, не спеша опускаться под лед! По лобовому стеклу все ниже и ниже скользила голова лошади! Вот она громко и тревожно заржала.

Я быстро распахнул дверцу кабины, чтобы посмотреть, не лопнул ли лед и под моим «ЗИСом», и волосы на голове, как говорится, встали дыбом: не лошадь опускалась под лед, а моя машина! Под ее задними колесами доски и лед прогнулись до того, что баллоны были уже наполовину в воде! И из-за этого нос машины задрался, а мне показалось, что погружается лошадь. Малопослушными руками я включил первую скорость. Под колесами зашумела вода. Я повел машину прямо на рыжую морду лошади!

«Пять — семь метров вперед, любой ценой вперед!!! Нужно отъехать от прогнувшихся досок и льда! — сверлила мысль голову. — Иначе гибель!» Главное препятствие — лошадь с возницей.

Вперед, вперед — приказывал я себе.

И я ехал!



Две отшлифованные о дорогу подковы вскинулись перед «ЗИСом», и тут же выросло белое брюхо лошади, потом я увидел, как испуганное животное пошло на задних ногах назад, хомут задрался под самую голову. Но я еще очень мало отъехал от гибельного места. Ехать на лошадей и глядеть на нее я не мог, а ехать необходимо, надо! Я усилил газ! Раздался какой-то треск, шуршание льда и крик кучера.

— Раз, два, три... — считал я, не останавливая машину, и, досчитав до десяти, как было себе приказано и как требовалось, посмотрел на дорогу — она была свободна.

Но в трех-четыре метра от задних колес торчала гривастая голова лошади и вытянутые на льду передние ее ноги. Сама лошадь была в проруби. Кроме вытянутых ног ей не давали уйти под лед оглобли и сани. Буйная весенняя вода с силой тянула лошадь с собой — под лед, прижимая ее к острой ледяной кромке, которая уже окрасилась кровью, а возница топтался вокруг саней, поспешно выбрасывая из них какие-то свертки и узлы. В огромных лошадиных глазах горело пламя ужаса. Лошадь хотела заржать, но ее горло сдавил хомут, она хрипела и задыхалась. Супонь оказалась веревочной, и я ее никак не мог развязать, чтоб ослабить хомут. Наконец сообразил: в кармане нож! Я с силой полоснул ножом по веревке, хомут цокнув, раздался, расширенные до предела ноздри лошади со свистом втягивали в себя воздух, и вот она жалобно заржала, взывая о помощи. В широко распахнутом красном ее зеве комкалась пушистая пена, лошадь все больше затягивало под лед, и она судорожно перебирала передними ногами, то одной, то другой...

Я понимал, что рискую машиной и своей жизнью, но жалость к лошади взяла верх: схватив буксирный трос, я пропустил его под передние ноги лошади и опоясал им лошадь, прицепив другой конец буксирного троса к машине, вскочил в кабину, включил первую скорость и, встав одной ногой на подножку, поехал.

Смотря назад, я увидел, как туго натянулся трос, как опрокинулась на спину лошадь и перевернулись сани, и все поползло за мной, загребая уложенные на льду доски. Вытащив на более безопасное место лошадь, я подал назад машину и развязал трос. Лошадь вскочила и, встряхнув ободранными спиной и боками, вплотную подбежала к машине и даже положила на борт кузова морду, дрожа всем телом.

— Чего же ты не помогал мне?! — закричал я на отрезвевшего дядю.

— Я! Я!.. — растерялся, начал заикаться он и признался: — Ведь меня убили бы за Рыжика! И стоит, стоит, окаянный...

Я распряг лошадь, потом, зацепив тросом сани и сдавив возницу в кабину, поспешил на другой берег по скользкому весеннему льду. За нами, не отставая, стараясь наступать только на доски, бежал Рыжик.

## ТРИ КРАЙНИХ СЛУЧАЯ

Первый крайний был под Ржевом — я спешил в свою часть ночью. Опустив стекло левой дверцы кабины и высунувшись из нее, я старался хоть как-то разглядеть дорогу. Фары и подфарники включать не посмел: с черного неба то и дело протягивались к земле стремительные смертельные разноцветные струи трассирующих пуль — враг был над головой! Приходилось напряженно вглядываться в темноту. Дорога все же проступала едва заметными сероватыми пятнами. От пятна к пятну я ехал через черные слепые участки фронтальной дороги. Иногда от усталости появлялись и ложные пятна, тогда приходилось останавливать машину и, плотно закрыв глаза, немного посидеть.

В этот раз я очень торопился. Было приказано явиться с продуктами в часть к четырем утра.

Но вот в небе вспыхнуло несколько вражеских «люстр», подвешенных на парашютах. Стало светло до боли в глазах. На дороге было пусто, только на левой стороне поля я различил железные копы танков... Через некоторое время люстры погасли, и ночь стала чернее, чем была, словно в нее кто-то подсыпал сажу. Опять из глубины неба полетели зеленые пули. Они впились в землю, совсем рядом раздалось несколько оглушающих взрывов бомб. Красные клыки огня в клочья разодрали мрак ночи. Но вскоре все успокоилось. Из темноты всплыло большое серое пятно и исчезло. Я поехал на него по памяти — нервы натянuty до предела!

И вдруг машина встала как вкопанная, заглох мотор.

«Что за фокус? — подумал я. — Перебоев не было, не чихала машина, а вот!..»

Аккумулятор мой еле дышал, пришлось брать заводную ручку и выходить из кабины в сплошную темень.

Небо наполнено пружинистым гулом бомбовозов. Скользя рукой по машине, я добрался до пробки радиатора и хотел стать левой ногой поближе к буферу, но нога, не найдя опоры, повисла в воздухе. В ужасе я отпрянул назад. Наклонясь, нащупал руками какой-то камень и подложил под заднее колесо, быстро поставил машину на ручной тормоз, и в это время фашистский летчик снова повесил парашютную люстру. Свой и чужой самолет легко было узнать по гулу. Снова стало светло, и я увидел впереди своей машины пустоту — буквально на самом краю обрыва, над речкой, стояла моя груженная машина. Завести ее я мог, только встав на буфер. Так и сделал!

Оказывается, пока я ездил за продуктами в Кимры, мост разбомбили, а большим серым пятном оказались выброшенные взрывом доски.

Говорят, чудес не бывает — не буду спорить, а что они на шоферских фронтальных дорогах водились — не сомневаюсь!

— Разве это не чудо? — спросил я помпотеха, рассказав о случившемся, когда приехал в часть.

Прежде чем ответить, он спросил:

— А завелась машина сразу, не капризничала?

— С пол-оборота завелась! — ответил я.

— Ну что могу сказать, — побарабанив пальцами, изрек помпотех, — чудо не чудо, а крайний случай!..

\* \* \*

Был через год у меня и второй крайний случай. И тоже с мостом связан.

Бензин тогда экономили особенно: немцы на юге к Баку лезли. А дороги в Калининской области раскисли, не вылезешь без буксовки. На буксовке столько горючего сожжешь, а с места не сдвинешься... И так бывало!

Замерил я шупом в баке горючее — не разгуляешься! А тут еще дождь хлынул. «Если я по старой дороге поеду, не хватит бензина — избуксую его! А если по новой — куда ближе, — подумал я. — Но, если по новой ехать, необходимо проскочить один «мосток», как его называл колхозный сторож, у которого я ночевал».

«Мосток, — говорил он, — ветошный, машин не держит. А подводы порожняком с опаской еще пробегают. Перестраивать хотели, да вот немец не дал!»

Я решил осмотреть этот мосток сам. Залез под трухлявый мосток на тоненьких сваях — будто на комариных ногах он стоит. Свайки, словно в шрамах, червяками изъедены, а некоторые и вовсе ноздреваты! Сев на корточки, я задымил елецкую махорку, чтоб мозги прочистить, и стал рассуждать: «Раз бензина по такой скользкой дороге не хватит — значит, не доеду, а небо не дает земле высохнуть. Значит, что? — спросил я сам себя. — Что делать?» И сам себе ответил: рискнуть надо!

Мост между двух круглых склонов, машина перегружена — это не в мою пользу, конечно. Был бы груз штучный — перетаскать можно, а то навалный, насыпной — картошка. Ох как ее ждут стриженные ребята! Была не была — поеду через этот мосток! Ведь умирают люди сотнями ежедневно на фронте, что это я себя берегу-то очень? Но поеду с разгоном, чтобы больше половины груза на инерцию переложить, решил я.

— Ты что, солдатик, с ума сошел? — забранилась жена сторожа, когда узнала, что я по мостку ехать хочу. — Кто же по этой развалине на машине да еще с грузом ездит? Я по нему, по мостку-то этому, корову и то гонять боюсь, все вброд переходим... Подол не просыхает!

— Нет, поеду, — сказал я. — Обстоятельства требуют!

Бабушка рассердилась не на шутку.

— А поедешь, так скажи, на каком кладбище хоронить тебя — у нас их два их! Родителей не жалеешь, адрес их хоть оставь! — Чего мелешь, старая, — заворчал дед. — Военное дело — надо, значит! — а сам вздохнул.

Когда я пошел садиться в машину, бабушка, вытирая концом платка слезы, вынесла темную от времени икону, перекрестила ею меня и машину и, увидев торчащий в кузове лом, взяла и выдернула его и тут же бросила с крутого берега в речку.

— Зачем железяка, тяжесть-то лишняя?!

Я завел машину, дал задний ход, чтоб места было побольше для разгона, и махнул прощально из кабины рукой.

— Постой, постой, сынок, дай я тебя заместо матери поцелую, может, на тот свет едешь! — простонала бабуся.

Дед снова цыкнул на нее. А я включил вторую скорость и, добравшись до четвертой, дал полный газ. Машина будто сделала низкий поклон мостику — потрудись, мол, выдержи!.. — и ринулась под уклон со скоростью, на которую только была способна.

Перед мостиком на долю секунды мной овладела трусость. «Назад уже поздно!» — крикнул я сам себе и еще плотнее прижал к полику акселератор. Мост был узок, с одной перилиной, и я не смотрел на него, а сразу будто впился взглядом в другой берег! Глубоким, протяжным вздохом я как бы вместе с воздухом тянул его с силой к себе. А мысленно я был уже на нем — на другом берегу, опережая действительность.

Помню только, что мост спружинил — он словно лягнул мою машину под брюхо, и она, проскочив мост, взмыла на крутой подъем, преодолев его на четвертой скорости. Тут я и остановился, чтобы в последний раз махнуть рукой моим сердобольным хозяевам. Но только я вышел из кабины — обомлел: моста не было! Мутная речка тащила бревна и обломки досок.

\* \* \*

В 1943 году из-под Ржева я выехал на Кавказ. На Кавказе был у меня третий крайний случай.

Головную машину 2-го батальона 28-го автомобильного полка вел я. Со мною сел сам комбат. Мы тогда были на перегоне получаемых по ленд-лизу американских автомашин из Ирана на фронт по Военно-Грузинской дороге.

Комбат вскоре уснул. По Араратской долине железная и шоссейная дороги идут параллельно. По железной дороге спешил пассажирский поезд, и я решил обогнать его. Был я в те годы еще молод — задор и ухарство брали частенько верх над разумом.

Мой груженный «форд», получив полный газ, помчался, рассекая воздух, со скоростью сто десять километров в час. Поезд стал отставать. Я увеличил скорость. Из окон вагонов махали десятки рук. Это

меня подзадоривало! Оглянувшись, на повороте дороги я увидел, как за мной несется железная река машин, покрытая клубящейся седой пылью, будто пеной.

Рейс получился скоростным. Ночью достигли Главного Кавказского хребта и, перевалив через него во втором часу ночи, стали спускаться в Дарьяльское ущелье. Комбат почти не просыпался. Как потом выяснилось, он тяжело заболел малярией. Все, конечно, были удивлены, что он разрешил такой темп в перегоне машин, но никто не смел возразить комбату — он в колонне старший!

На змеобразной поднебесной дороге я тоже увеличил скорость, далеко оторвавшись от стрелчатых огней фар летящей за мной автоколонны. И вдруг на самом высокогорном, самом коварном повороте машина отказалась слушаться руля. Я кручу его влево, а машина бежит вперед, прямо на красный фонарь солдата-регулировщика. На этом опасном повороте всегда стоял постовой — днем с красным флажком, ночью — с красным фонарем. И вот красный фонарь нервно заметался из стороны в сторону, но машина неотвратно надвигалась на него. Я растерялся и, вместо того чтобы схватить ручной тормоз, выключил свет и только изо всех сил давил на ножной тормоз.

Когда оставалось метров десять до фонаря, я увидел, как солдат, окрашенный красным светом, отскочил в сторону. Лишь здесь я вспомнил о ручном тормозе и с силой рванул его на себя, но машина все-таки переехала барьерчик клумбы и въехала на ее земляную мякоть. А что я пережил, когда переезжал этот барьерчик? Это был порог смерти!

Глаза сами собой закрылись и тут же открылись — и полезли из орбит. Я увидел, как несусь в пропасть! А горы подпрыгнули в небо! Но быстро сообразил: «Это задние машины, спускаясь с горы, лизнули сверху вниз на повороте светом своих фар скалы противоположного берега Терека, а мне показалось!..»

Моя машина остановилась перед отвесной, как стена, километровой, если не глубже, бездной!

Не спуская с ручного тормоза машину, я включил заднюю скорость. Машина с визгом отпрянула от головокружительной, заполненной мраком глубины Дарьяла. Я переключил скорость — и руль и машина снова стали послушны мне.

Проехав несколько километров, я настолько ослабел физически от пережогого, что с трудом вел машину. Поехал тише и нарочно, будто незначай, стал локтем толкать комбата, чтоб хоть с кем-нибудь молвить слово в полумночной мгле Дарьяла — отвлечься. Тут догнал меня и наш автобатальон, а от очередного толчка локтем проснулся и комбат.

— А?! Где мы? — спросил он и закурил.

— Спускаемся с неба, — ответил я.

Папироска комбата уже валялась под ногами, он снова погрузился в сон.

На вторые сутки мы возвращались в Иран за очередной партией американских автомашин. На самом опасном повороте стоял «виллис» командира полка. Когда мы остановились, из «виллиса» вышел Илья Васильевич Троицкий.

— Признавайтесь, — сказал он сурово, — кто это из вашего батальона со смертью в жмурки решил играть? — и показал на рубчатый след машины, оставленный на клумбе. — Мне доложили, что это было вчера ночью, — продолжал он. — Значит, ехал ваш батальон. Где комбат?

— Комбат в госпитале, — доложил командир нашей 5-й роты. — У него малярия.

— Ох, эта малярия, — горестно протянул Илья Васильевич. — Не дает жить нам, работать! — и, подойдя к клумбе, пожал плечами. — Смотрите, двадцать сантиметров не доехал кто-то до смерти! И до какой смерти! Клумба кого-то спасла.

Клумба эта была одна на все Дарьяльское ущелье из привезенной насыпной земли, на которой живыми цветами было написано: «За нашу Советскую Родину!»

Держась за руку товарища, я наклонился над пропастью: там, далеко внизу, свивались и разрывались на клочья тучи. Обрывки их, как альпинисты, карабкались на седые морщинистые скалы, на самом дне преисподней глухо гудел грозный Терек. С тысячелетних каменных стен Дарьяля срывались камни и с грохотом куврыкались вниз, как бы подтверждая, что на земле ничто не вечно. Даже эти каменные горы... «Они тоже постепенно умирают!» — подумал я и отошел от страшного края бездны. На миг я представил себе, как бы я летел туда позавчера, во мраке кавказской ночи, и вздрогнул.

— Что, Демьянов, — спросил командир полка, — холодного молока не пил, а вздрагиваешь?

— Это я, наверное, малярией заболеваю, — соврал я.

— А ты говоришь, помпотех, что чудес не бывает, — сказал командир полка, снова глядя на клумбу. — Опять скажешь — крайний случай. Но хорошо, что все без панихиды кончилось! А смотри, смотри, бездна какая, она могла кому-то могилой стать!

— Да-а... — протянул помпотех, — могила тут глубокая: попадешь — не вылезешь. Из третьего и четвертого батальонов четыре машины позавчера ушли туда...

— Знаю! — сухо оборвал командир полка. — Ты за вторым вот присматривай! А здесь, конечно, было чудо!

— Чудо не чудо, а крайне крайний случай, — подал опять голос помпотех. — Я уже не один такой знаю! — И, прикурив от моей сигарки, стал рассказывать, как один шофер с грузом перескочил на машине по кособокому деревенскому мостику, а когда оглянулся,

моста уже не было. — В речке купался он — мостик-то! — закончил помпотех. — Нам бы таких шоферов в полк побольше, а то набрали вот вроде этого — заснул, наверное, черт лысый, и чуть... — и помпотех рубанул по «черту лысому» такими фразами, после которых сам сплюнул и побрел к своей «техпомощи».

Я, конечно, с удовольствием слушал его рассказ, только недоумевал: почему «черт лысый» заехал на клумбу, а не вихрастый? — и улыбнулся.

Я вспомнил: «черт лысый» — любимое выражение помпотеха.

## НА ПОБЫВКЕ

Война с фашистской Германией окончилась. Наша 1-я автомобильная бригада Ставки Верховного Главнокомандования, в том числе и родной 28-й автополк, входящий в ее состав, собирала разлетевшихся своих солдат-водителей в Бресте. И они стекались сюда из Польши и Германии — отовсюду. Надо ехать теперь на новую войну — войну с Японией!

Я подумал: «В Москве будем, а до Ленинграда от Москвы рукой подать. Настроение у командира полка погожее, попрошусь-ка я у него мать проведать. Придется ли вернуться с другой войны, кто знает». И попросился у командира полка навестить мать.

— Если будем в Москве формироваться больше пяти дней, отпущу в короткую побывку, — сказал Илья Васильевич Троицкий.

Я от радости чуть не подпрыгнул!

И вот я в Москве.

На Ленинградском вокзале отходил скорый. Еле догнал красные огоньки и, ухватясь за поручни заднего вагона, пропустив мимо ушей протест проводника, я оказался в последнем вагоне. Билета тоже не было, но было великое желание доехать до родного города, увидеть мать. И я доехал.

Мать с отчимом были не в самом Ленинграде — в совхозе Овцино, на правом берегу Невы, за Лесопарком, куда они приехали по вербовке из Устюжны. А в Устюжну я их завез через Ладогу в 1942 году — от голодной смерти спасал. К ним тогда в Овцино надо было добираться через Володарский мост. А там пешком грязь месить.

А побывка-то короткая, и я решил сэкономить время. Поехал на поезде через Колпино до Славянки, а там через Неву перемахнуть только — и я у матери!

Но не тут-то было: весна 1945 года вступила в свои права, именно в это время лед на Неве вспучило, разломало. Льдины гулко стучались лбами, терлись друг о друга, кружась в водоворотах, выныривали из-под ледяных полей в полынью и снова ныряли вниз. Иногда зеле-

ные глыбы становились на ребро и, покрасовавшись немного в таком положении, словно осматривая берега, снова шлепались навзничь. Нева силилась начать ледоход. Но лед упирался в раскисшие берега, держался. Мутная вода выла и гудела, переваливаясь через изломанный панцирь Невы.

— Перевезите меня до середины реки — здесь большая промоина, а там я по льду перебегу. На правый берег — мать там! А времени у меня мало осталось, — попросил я какого-то деда, стоящего у лодки, приваленной к забору.

Дед, посочувствовав мне, изрек:

— Ты что, служивый, на войне цел остался, от горячей смерти отделался, а теперича холодную смерть ищешь?! Ты глянь — лед-то вот-вот тронется, вишь дергается весь, стонет!

Какая длинная дорога была к матери — от Ирана через ледяные горы Кавказа, через многие республики и фронты, а тут только Неву перескочить осталось, километра нет! И вот я «загораю», можно сказать, на виду у матери. А побывка-то короткая! Наша часть может уехать. И, схватив огромную доску, лежавшую у забора, не прислушиваясь к словам хозяина, я прыгнул на живую льдину — она качалась. При помощи доски перешел на соседнюю льдину — и двигался так дальше и дальше. И вот я наедине с разбушевавшейся рекой! Правый и левый берега далеко от меня. А здесь, посредине Невы, на освободившихся ото льда размывах, казалось, несется еще какая-то другая река, тряся белобурунной пеной и выбрасывая свою кудлатую гриву на льдины и вновь сволакивая ее в пучину. С хлопаньем и шумом выскакивали волны, позванивая мелкими острыми льдинками у моих ног. Только теперь я понял, что здесь и с доской не пройти, будь она хоть в пять раз длиннее! Льдина, по которой я бежал, вдруг с треском разломилась, и как раз между моих ног. Ноги стали разъезжаться в разные стороны. Я грохнулся, доска на меня! Та льдина, с которой я убрал левую ногу, встала на дыбы и с глухим шумом, будто втягивала в свои зеленоватые ноздри воздух — у-у-фф! — нырнула под большую льдину. Я успел заметить, что там, где была ушедшая под лед льдина, образовалась вертящаяся впадина — воронка. Но моя льдина, на которой я был с доской, быстро накрыла эту впадину, а сама превратилась в быструю карусель. И опять меня выручила доска: когда карусель поплыла спокойнее, я по доске перебежал на большую льдину и потом вновь захватил доску с собой.

Вешняя вода на середине реки нагромодила горы торосов. «Словно соорудила маленькие Кавказские горы!» — мелькнула мысль. И, перешагивая торчащие льдины, карабкаясь на них, переваливаясь через них, полз и бежал по ним, и правый желанный берег медленно, но приближался ко мне!

На нем уже толпился народ, видимо, наблюдая за мной. На левый берег я не смотрел. Присутствие людей меня как-то ободряло —



берег рядом! Я бросил доску на лед («Авось кому-либо понадобится», — подумалось мне), и, разбежавшись на льдине, я прыгнул и ощутил под ногами землю! Какое счастье, когда так крепко стоишь на земле! Это не всегда понимаешь...

— Как вы решились?!

— Что вы делаете? Разве можно так рисковать?!— слышал я голоса, раздававшиеся за моей спиной.

Мокрый, но разгоряченный, бегом взбирался я на горку разыскивать дом матери. А Нева заревела сильнее. Мне навстречу спешили мальчишки, застегиваясь на бегу и крича кому-то:

— Скорее, скорее! Ледоход начался!!!

В это время, видимо, лопнула большая льдина, сдерживающая торосы. Нева загрохотала, словно запела стремительным движением льдов и воды великий гимн весне и солнцу, вселяя в души людей надежды и новые силы.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Солдатская подушка . . . . .	3
Последний рейс . . . . .	33
Клыкастая совесть . . . . .	34
Встреча . . . . .	37
Три крайних случая . . . . .	40
На побывке . . . . .	45

**Иван Иванович Демьянов**

### СОЛДАТСКАЯ ПОДУШКА

Редактор Ю. С. Новиков

---

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 13.01.83. Подписано к печати 14.03.83. А 00642.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,07. Тираж 100 000 экз.  
Изд. № 614. Зак. № 36. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, ГСП, Москва, А-137,  
ул. «Правды», 24.



### **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

● Договоры смешанного страхования жизни могут заключить граждане в возрасте от 16 до 70 лет.

Заключив договор, страхователь обеспечивает себе:

— накопление и получение через 5, 10, 15 или 20 лет, в зависимости от обусловленного договором срока страхования, определенной денежной суммы;

— получение этой суммы (или соответствующей ее части) в случае утраты страхователем общей трудоспособности в результате травмы или другого несчастного случая, происшедшего с ним на работе или в быту. Важно знать, что независимо от полученной при названных обстоятельствах суммы страхователю выплачивается по окончании договора полная страховая сумма, предусмотренная в нем.

● Ежемесячные страховые взносы можно уплачивать путем безналичных расчетов через бухгалтерию по месту работы застрахованного, перечислением со счета в сберегательной кассе или же наличными деньгами страховому агенту. Кроме того, взносы можно уплачивать по специальной расчетной книжке в сберегательной кассе или почтовым переводом.

### **Уважаемые товарищи!**

● Для заключения договора обращайтесь, пожалуйста, к страховому агенту, который обслуживает Вас по месту жительства или по месту работы, либо в инспекцию Госстраха.

**Госстрах РСФСР**